

**Сравнительно-историческое
языкознание XIX–XXI вв.**

**К 200-летию со дня рождения
Августа Шлейхера (1821–1868)**

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**Сравнительно-историческое языкознание
XIX–XXI вв.
К 200-летию со дня рождения
Августа Шлейхера (1821–1868)**

Материалы XI Международной научной конференции
по сравнительно-историческому языкознанию

МГУ имени М.В. Ломоносова
филологический факультет
23–25 ноября 2021 г.

Издательство Московского университета

2022

УДК 81-112
ББК 81.1-03
С75

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
филологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова

Рецензенты:

доктор филологических наук *А.В. Сидельцев*
доктор филологических наук *А.М. Белов*

С75 Сравнительно-историческое языкознание XIX–XXI вв.
К 200-летию со дня рождения Августа Шлейхера (1821–
1868): материалы XI Международной научной конферен-
ции по сравнительно-историческому языкознанию (МГУ
имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, 23–
25 ноября 2021 г.) / Редколлегия: Л.А. Чижова (отв. ред.),
К.Г. Красухин, А.М. Белов, Ю.В. Корнеев. – Москва : Из-
дательство Московского университета, 2022. – 132 с., ил. –
[Электронное издание сетевого распространения].

ISBN 978-5-19-011804-9 (e-book)

В сборник вошли материалы XI Международной конференции по с-
равнительно-историческому языкознанию, проходившей на филоло-
гическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в ноябре 2021 г.
Конференция была посвящена анализу наследия А. Шлейхера (1821–
1868) в современном языкознании. В центре внимания авторов статье
й проблематика индоевропеистики, типологии, сопоставления языко
в в сфере этимологии, изучения узуса речи для описания националь-
ного языка, а также лингвокультурная тематика с учетом влияния
трудов А. Шлейхера в филологической науке.

Ключевые слова: сравнительно-историческое языкознание, Август
Шлейхер, индоевропеистика, лингвистическая типология, сопостави-
тельное языкознание, этимология, лингвокультурология.

УДК 81-112
ББК 81.1-03

ISBN 978-5-19-011804-9 (e-book)

© Коллектив авторов, 2022
© Филологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2022

Содержание

<i>Абрамян Л.А.</i> «Топоробык»: изобразительная анаграмма железного века	5
<i>Алпатов В.М.</i> Шлейхер, теория и метод.....	10
<i>Белов А.М.</i> Фонологическая реконструкция и лингвистическая информация.....	17
<i>Варбот Ж.Ж.</i> Об этимологии праслав. * <i>remy</i> , <i>-ene</i> (К проблеме семантической реконструкции в этимологии).....	22
<i>Вдовиченко А.В.</i> Язык Нового Завета в сравнительно-исторической парадигме: издержки метода, смена оптики	25
<i>Волошина О.А.</i> Роль метаязыка в работах Августа Шлейхера	32
<i>Грейдина Н.Л.</i> Идеи В. Гумбольдта в изучении современного публичного дискурса (на основе сравнительного анализа английского и русского языков)	39
<i>Живлов М.А.</i> Юкагирская субстратная лексика в хантыйском?	43
<i>Живлова Н.Ю.</i> «Мое имя – красный»: к этимологии и значению имени святого Руадана из Лотры	46
<i>Захарьин Б.А.</i> Андроцентризм традиционной индийской культуры и его проявления в системах счета новоиндийских языков	50
<i>Зимин М.</i> Проблематика фонетической природы прагерманских * <i>ʀ</i> и * <i>ð</i>	59
<i>Красухин К.Г.</i> Имя и глагол в праиндоевропейском языковом состоянии: сходства и различия.....	64
<i>Лин Ли.</i> Принципы лексикографического описания происхождения слов в русской и китайской лингвистической традиции	73
<i>Михайлова Т.А., Руссо М.М.</i> Латинское <i>alauda</i> ‘(хохлатый) жаворонок’: когнаты и попытка мотивированной этимологии.....	80
<i>Петросян А.</i> Хурро-урартский Тешшуб / Тейшеба и греческий Тесей	88
<i>Святополк-Четвертынский И.А.</i> Лево- и правосторонняя схема организации синтаксиса относительного придаточного предложения в шумерском, аккадском, санскрите, арабском и турецком языках	95
<i>Сергеева О.М.</i> Об одной гипотезе в истории изучения исторической фонологии греческих спирантов.....	103

<i>Синёва О.В.</i> Август Шлейхер, судьба литовского языка и развитие литуанистики	107
<i>Трофимов А.А.</i> Наблюдения над ударением в пушту, парачи и ормури	114
<i>Чижова Л.А.</i> Соотношение сравнительно-исторического и типологического языкознания: наследие А. Шлейхера и развитие его идей в последующих лингвистических исследованиях	122
<i>Шляхтер М.Е.</i> Развитие значения глагола <i>khelāno</i> ‘играть, развлекать’ в среднебенгальском и ‘заставлять играть, водить за нос’ в современном бенгальском.....	128

Л.А. Абрамян
«Топоробык»:
изобразительная анаграмма железного века

Аннотация: Делается попытка интерпретации двух видов артефактов – подвесок и булавок из захоронений железного века Армении при помощи понятия изобразительной анаграммы, введенного по аналогии с соответствующим лингвистическим явлением. Оба артефакта толкуются как отражение мифологического сюжета, скорее всего хурритского, подобного сюжету об убийстве Минотавра Тесеем в Лабиринте. Сходный анаграмматический мотив усматривается в изображениях на сосудах средней бронзы того же региона. Предлагаются возможные варианты происхождения и функции этих артефактов.

Ключевые слова: «топоробык», изобразительная анаграмма, лабиринт, лабрис, археологический артефакт, Армения, Тешуб / Тейшеба, Тесей и Минотавр, наскальные изображения

L.H. Abrahamian
«Axe-Bull»: An Iron-Age Iconic Anagram

Abstract: Two types of artifacts – pendants and pins from the burials of the Iron Age in Armenia are interpreted using the concept of iconic (pictorial) anagram, introduced by analogy with the corresponding linguistic phenomenon. Both artifacts are interpreted as reflecting a mythological plot, most likely Hurrian, similar to the plot about the slaying of the Minotaur by Theseus in the Labyrinth. A similar anagrammatic motif can be seen in the depictions on vessels of Middle Bronze Age from the same region. Possible variants of the origin and function of these artifacts are proposed.

Key words: «axe-bull», iconic anagram, labyrinth, labrys, archaeological artifact, Armenia, Tessub / Teiseba, Theseus and Minotaur, petroglyphs

Цель настоящего сообщения – показать, как явление из лингвистической области, анаграмма, используется в изобразительной области, как изобразительная анаграмма может помочь лингвистической реконструкции и, наоборот, лингвистическая реконструкция может помочь визуальному толкованию. Объектом исследования будут малоизвестные артефакты, найденные в захоронениях железного века в разных регионах Армении, в основном в городище Ширакаван [Avetisyan, Dan, Petrosyan 2018: 30, 31]. Это бронзовые подвески, состоящие из трех, а иногда и двух круглых полос, образующих концентрические круги, имеющие в центре выступ неоднозначной конфигурации (рис. 1а). Концентрические круги напоминают лабиринт, а выступ – одновременно стилизованную голову быка и топор. Поэтому я предложил назвать его «топоробыком», всю же композицию подвески – «топоробыком в лабиринте» [Абрамян 2004].

Композиция могла иметь отношение к сюжету о Минотавре, чудовищном узнике критского лабиринта с телом человека и головой быка, убитом своим сводным братом Тесеем, скорее всего использовавшим топор как орудие убийства. Даже если лабиринт и не обязан, как полагают, своим названием двойному топору labrys, а Тесей убивает Минотавра другим оружием, как изображают на разных иллюстрациях этого мифологического

сюжета, Тесей несет топор в своем имени: согласно достоверной реконструкции Армена Петросяна [Петросян 2002: 251–253; Petrosyan 2012: 147–151], благодаря связи с индоевропейским корнем *tek's-, на основе которого произошли термины, означающие 'топор' и действия, связанные с топором, а также имена хурритского бога Тешуба и урартского бога Тейшеба – Громовержцев, изображаемых с топором в руке. Таким образом, Тесей, носящий топор в своем имени, совершает свой главный героический поступок – убивает Минотавра в лабиринте – если и не связанном генетически с топором-лабрисом, то связанном с ним хотя бы анаграмматически или даже, возможно, на уровне «народной этимологии», предлагаемой ученым-толкователем.

Можно предположить, что композиция подвески в целом представляет собой анаграмматическое изображение указанного сюжета. Анаграммы относятся к словам, составленным путем перестановки букв, так что исходное слово, которое таким образом скрыто в тексте, может быть услышано косвенно. Этот принцип особенно часто используется в священных текстах, которые должны были скрывать тайное или табуированное имя (см. [Иванов 1998] – с историей и литературой вопроса). Например, имя ведийской богини речи Вач отсутствует, но анаграмматически звучит в мандале X.125 Ригведы, посвященной этой богине [Топоров 1966; Елизаренкова, Топоров 1979: 63–67]. Древнеиндийская, особенно ведическая поэтическая традиция в целом сохраняет многие черты индоевропейской мифопоэтической традиции, в том числе анаграмматический принцип построения священных текстов [Елизаренкова, Топоров 1979]. Примечательно, что армянский гимн Ва(х)агну, который считается одним из самых древних индоевропейских поэтических текстов [Иванов 1969], похоже, также построен по анаграмматическому принципу [Иванов 1983; Петросян 2019].

Я полагаю, что обсуждаемые артефакты сходным образом представляют собой визуальные или иконические анаграммы, составленные из изображений, намекающих на исходное значение анаграмматического изображения. Таким образом, мы имеем выступ, повторяющий форму маленьких топориков, известных из археологических находок того же периода [Торосян, Хнчикян, Петросян 2002: табл. LX/14], и в то же время образующий голову быка. При этом в имени убийцы быка этимологически «скрыт» топор, выявленный современными исследователями, что добавляет еще один уровень в анаграмматическую интерпретацию исходной композиции.

Наряду с анаграмматическими подвесками в тех же погребениях часто находят другие, на мой взгляд, тоже анаграмматические артефакты – булавки с ромбовидными украшениями (рис. 1b)]. Причем подвески и булавки, скорее всего, вовлечены в одно и то же «лабиринтное» мифологическое поле – ромбические украшения булавок, наподобие концентрических составляющих подвесок, состоят из трех вписанных друг в друга ажурных бронзовых ромбиков, имеются здесь и быкотопорики, но направлены они вовне ромбов, более того, заключены в исходящие лучами ореолы, что первым делом вызывает астральные ассоциации, однако в контексте лабиринтного сюжета подвесок, возможно, изображают «прославление» победоносного героя-убийцы быка. Впрочем, не исключен и астральный аспект того же сюжета, вспомним хотя бы другое имя Минотавра – Астерий (на это обратил мое внимание Армен Петросян).

Тот факт, что оба украшения отправлялись в иной мир с усопшими, которые, судя по разным признакам, были элитарными всадниками [Avetisyan, Dan, Petrosyan 2018: 50–51], может свидетельствовать только о том, что эти украшения были знаково престижными независимо от значения, которое видели в них их владельцы и те, кто совершал захоронение. Вообще говоря, украшения не обязательно должны быть престижными из-

за их первоначального значения. Например, есть много примеров, когда знаки с символическим значением воспринимались как чистые украшения (например, некоторые барельефы средневековых армянских церквей). Есть также много примеров, когда знаки с семантическим содержанием используются столетия, даже тысячелетия спустя в другой форме, но с той же семантической структурой (см., например: [Демирханян 1982; Демирханян, Абрамян 1995]).

Примечательно, что на более древних изображениях (на сосудах первой половины II тыс. до н.э.) [Торосян, Хннкиян, Петросян 2002: табл. X/8; Хачатрян 1975: рис. 60] часто встречаются композиции, которые можно рассматривать как стилизованное выражение «лабрисной» иконографии лабиринта (рис. 2): ромбовидный участок, расположенный между двумя «лабрисами» – треугольниками со сходящимися остриями, сопоставим с «лабиринтными» декоративными булавками. Сосуды с такой схематической композицией были широко распространены в эпоху средней бронзы в том же районе, но в дальнейшем их количество значительно сокращается [Avetisyan, Dan, Petrosyan 2018: 42]. Р. Торосян, О. Хннкиян и Л. Петросян [2002: 137] относят эти сосуды к какой-то этнической группе, появившейся в этом районе после периода, когда жизнь в эпоху ранней бронзы была на время прервана. Можно предположить, что эта новая гончарная традиция с темой «лабиринта» была принесена людьми с соответствующим повествованием о герое / божестве, вооруженном топором.

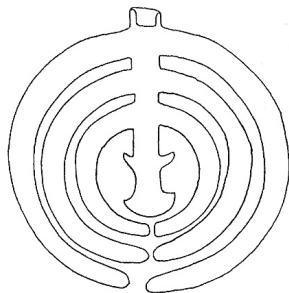
Исходя из наших сопоставлений, можно сказать, что в первой половине II тыс. до н.э. на территории современной Армении существовал высокой значимости сюжет, связанный с топором-лабрисом и лабиринтом, который в Древней Греции имел подробный параллельный ритуально-мифологический нарратив о чудовищном Минотавре, обитавшем в кносском лабиринте на Крите и встретившем свою смерть от руки своего сводного брата Тесея, имя которого, орудие убийства и место, где произошло убийство, вероятно, были связаны с хурритским Громовержцем Тешубом из Малой Азии, вооруженным топором и тоже братоубийцей [Петросян 2002: 251–253; Petrosyan 2012: 147–151]. Сложно сказать, какова была связь в плане содержания и хронологии (если таковая была) местного сюжета, анаграмматически изображенного на археологических находках, и известного средиземноморского сюжета. Мы можем только утверждать, что столетия спустя, в железном веке, он внезапно появляется в виде анаграмматических образов «топоробыка» в той же местности, в стране Этиуни, незадолго до завоевания этой страны урартами [Avetisyan, Dan, Petrosyan 2018: 50]. Примечательно, что урарты со своим богом-топородержцем, вероятно, уже забыли о его прошлых деяниях, отголоски которого отражены в украшениях покоренных народов.

Могли ли булавки-лабиринты железного века быть прямыми потомками ромбовидных изображений первой половины II тыс. до н.э.? Нет данных, подтверждающих такой непрерывный процесс. Более перспективным представляется поиск соответствий среди петроглифов и рельефов стел вишапов (каменных драконов) [Петросян 2015: 23–29; Avetisyan, Dan, Petrosyan 2018: 50–51] в качестве источника композиции подвесок (петроглифы) и формирования его жертвенного значения (рельефы вишапов).

Еще одна загадка – появление парного (подвеска и булавка) элитного украшения в Этиуни незадолго до урартского завоевания. Это могло отражать появление в этой стране некоторых элитных всадников из западных областей, где, надеюсь, в будущем будут найдены копии или варианты этих украшений. Другой вариант предполагает Армен Петросян (частное сообщение): эти украшения могли быть знаком воинов, прошедших обряд инициации. Для этой версии знак будет иметь исключительно местное происхождение

со смутно предполагаемым значением, отражающим символику средне-бронзового века, комбинацию древних изображений, использованных «дизайнером», которому было поручено создать этот знак, обозначающий прохождение посвящения. Можно предположить, что знак мог также анаграмматически отражать лабиринтный нарратив, который, вероятно, циркулировал в то время только устно.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



a



b

Рис. 1

Подвеска (диаметр 12 см) (a)
и декоративная булавка (высота 36 см) (b)
из погребения железного века в Ширакаване,
Армения [Торосян, Хнкиян, Петросян 2002: табл.
LXXV.17; табл. LXX.8]



Рис. 2

Сосуд (высота 24 см) из погребения
среднебронзового века в Аруче, Армения
[Хачатрян 1975: рис. 60]

ЛИТЕРАТУРА

- Абрамян Л.* «Топоробык» в лабиринте: об интерпретации одной композиции железного века // Историко-культурное наследие Ширака. Материалы республиканской научной сессии. Гюмри: Ширакский центр арменоведческих исследований, 2004. С. 12–14 (на арм. яз.).
- Демирханян А.* К проблеме символики трехчастных композиций Древней Армении // Историко-филологический журнал. 1982. № 4. С. 154–162.
- Демирханян А., Абрамян Л.* Хачкар как вариант трехчастных зеркально-симметричных композиций // Седьмая республиканская научная конференция по армянскому искусству: Тезисы докладов. Ереван, 10–12 октября 1995 г. Ереван: НАН РА, 1995. С. 18–19 (на арм. яз.).
- Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н.* Древнеиндийская поэтика и ее индоевропейские истоки // Литература и культура древней и средневековой Индии / Ред.: Г.А. Зограф, В.Г. Эрман. М.: Наука, 1979. С. 36–88.
- Иванов В.В.* Использование для этимологических исследований однокоренных слов в поэзии на древних индоевропейских языках // Этимология 1967 / Ред.: О.Н. Трубачев и др. М.: Наука, 1969. С. 40–56.
- Иванов Вяч.Вс.* Выделение разных хронологических слоев в древнеармянском и проблема первоначальной структуры текста гимна Ва(х)агну // Историко-филологический журнал. 1983. № 4(103). С. 22–43.
- Иванов Вяч.Вс.* Теория анаграмм в индоевропейском стихе // Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. I. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 617–627.

- Петросян А.* Триада урартских главных богов и проблема происхождения правящей государственной элиты // Историко-филологический журнал. 2002. № 2. С. 256–266 (на арм. яз.).
- Петросян А.* Тридцать лет спустя: каменные стелы вишав и драконоборческий миф // Каменные стелы вишав / Ред.: А. Петросян и А. Бобохян. Ереван: Гитутюн, 2015. С. 13–52 (на арм. яз.).
- Петросян А.* Об анаграммах «Гимна Ва(х)агну» // Современные проблемы исторического изучения армянского языка / Ред.: В.Л. Катвалян и др. Ереван: Гитутюн, 2019. С. 167–176 (на арм. яз.).
- Топоров В.* Об одном примере звукового символизма (Ригведа X, 125) // Poetics. Poetyka. Poëtika. II. / Ed. by R. Jakobson et al.; Instytut Badań Literackich. Polska Akademia Nauk. The Hague, Mouton; Warszawa, Polish Scientific Publishers, 1966. P. 75–77.
- Торосян Р.М., Хннкиян О.С., Петросян Л.А.* Древний Ширакаван (Результаты раскопок 1977–1981 гг.). Ереван: Гитутюн, 2002 (на арм. яз.).
- Хачатрян Т.С.* Древняя культура Ширака (III–I тысячелетие до н.э.). Ереван: Изд. Ереванского университета, 1975.
- Avetisyan P., Dan R., Petrosyan A.* Axes, Labyrinths and Astral Symbols: Bronze Pendants and Pins from the Armenian Highlands // Ancient West & East. 2018. 17. P. 27–63.
- Petrosyan A.* The Cities of Kumme, Kummanna and Their God Teššub / Teišeba // Archaeology and Language. Indo-European Studies Presented to James P. Mallory / Ed. by M.E. Huld, K. Jones-Bley and D. Miller (Journal of Indo-European Studies, Monograph 60). Washington, DC: Institute for the Study of Man, 2012. P. 141–155.

Сведения об авторе:

Абрамян Левон Амаякович
кандидат исторических наук
член-корреспондент Национальной Академии наук Армении
зав. отделом этнологии современности
Институт археологии и этнографии НАН РА

Abrahamian Levon Hmayak
Ph.D., Member of the National Academy of Sciences of Armenia
Head of the Department of Contemporary Anthropological Studies,
Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA
levon_abrahamian@yahoo.com

В.М. Алпатов **Шлейхер, теория и метод**

Аннотация: Август Шлейхер – один из выдающихся лингвистов XIX в. Ведущей областью языкознания того времени была сравнительно-историческая лингвистика. Шлейхер занимался конкретными исследованиями и формулировал фундаментальные теоретические и методические понятия компаративного языкознания. Сравнительно-исторический метод был первым строгим методом в истории языкознания. Предшественники Шлейхера интуитивно использовали этот метод, но сам он строго его сформулировал. Его теоретический подход испытал влияние идей Ч. Дарвина. Шлейхер был основателем натуралистической лингвистики. В отличие от методических, теоретические идеи Шлейхера не были поддержаны позитивистской лингвистикой следующего поколения. Наука о языке XX в. игнорировала большинство его теоретических идей. Однако концепция родословного древа языков существует до сих пор.

Ключевые слова: Шлейхер, компаративное языкознание, теория, метод, развитие языков, Дарвин, натуралистическое языкознание, родословное древо языков.

V.M. Alpatov **Schleicher, Theory and Method**

Annotation: August Schleicher was one of outstanding linguists of the 19th century. The comparative linguistics was the leading field of the linguistics of that time. Schleicher both investigated concrete researches and formulated fundamental theoretical and methodological notions of the comparative linguistics. The comparative method was the first strict methods in the history of linguistics. Schleicher's predecessors used this method intuitively but Schleicher formulated it strictly. His theoretical approach was formed under the influence of the Darwin's ideas. Schleicher was the founder of the naturalistic linguistics. Unlike Schleicher's methodological ideas his theoretical ideas were not supported by the positivist linguists of the next generation. The majority of Schleicher's theoretical ideas were ignored by the linguists of the 20th century. However his conception of the genealogical tree of languages exists until now.

Key words: Schleicher, comparative linguistics, theory, method, development of languages, Darwin, naturalist linguistics, genealogical tree of languages

Август Шлейхер, родившийся 200 лет тому назад, занимает не совсем обычное место в истории науки о языке. С одной стороны, всегда отмечают его историческую роль и с ним связывают целый этап в развитии языкознания. С другой стороны, А. Мейе указывал, что уже к 1880 г. переиздание работ Шлейхера «имело бы только исторический интерес» [Мейе 1938: 466]. А к этому времени после его смерти прошло всего десять с небольшим лет. Ученый внес большой вклад в развитие науки, при жизни был известен и влиятелен, но его идеи очень быстро стали рассматриваться как устаревшие.

Шлейхер занимался разными областями науки о языке. Он шлифовал сравнительно-исторический метод и ввел в науку значительный по объему конкретный материал; эта сторона его деятельности всегда признавалась лингвистами следующих поколений. Однако он в отличие от большинства компаративистов занимался и теорией языка, и именно эта часть его наследия была вскоре признана устаревшей, хотя ряд его теоретических идей остаются основополагающими вплоть до настоящего времени.

Этот ученый, по существу, создал сравнительно-историческую теорию, которая в тех чертах, которые и дальше сохранялись в компаративистике, с тех пор мало менялась, но подверглась значительной редукции. Нельзя сказать, что Шлейхер был первым, кто исходил из соответствующих принципов, но именно он их эксплицировал.

Развитие сравнительно-исторического метода, первого строгого метода в языкознании, стало неоспоримой заслугой многих компаративистов XIX и XX вв. Безусловно, этот метод дал значительные результаты. Но если словосочетание *сравнительно-исторический метод* широко распространено, то обычно специалисты избегают говорить о *сравнительно-исторической теории*. Более того, мне приходилось даже слышать о том, что такой теории в принципе не может существовать, а лингвисты-компаративисты занимаются исключительно вопросами метода.

Однако существующие определения теории и метода исходят из того, что то и другое составляют необходимую основу всякой науки. Вот определения в третьем издании Большой советской энциклопедии. Теория: «В широком смысле – комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение к.-л. явления» [БСЭ 1976, 25: 434]. Метод: «Совокупность приемов или операций практич. или теоретич. освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи» [БСЭ 1974, 16: 162]. В Лингвистическом энциклопедическом словаре статьи «Теория» нет, а в статье «Метод в языкознании» (автор – Ю.С. Степанов) разграничиваются и по-разному определяются общие и частные методы. Общие методы – это «обобщенные совокупности теоретических установок, приемов, методик исследования языка, связанные с определенной лингвистической теорией и с общей методологией» [ЛЭС 1990: 298]. Частные методы – «Отдельные приемы, методики, операции, опирающиеся на определенные теоретич. установки» [там же]. То есть теория и метод неразрывно связаны, и любое научное исследование, в том числе лингвистическое, опирается на некоторую теорию. Ю.С. Степанов прямо писал, что сравнительно-историческому методу соответствует определенная теория языка, только называл он ее не сравнительно-исторической теорией (видимо, из-за непривычности термина), а сравнительно-историческим языкознанием.

Другой вопрос – то, что исследователь конкретного материала чаще всего не думает ни о какой теории, но имплицитно она все равно присутствует. Автор грамматики конкретного языка применяет методы когда-то им освоенного школьного учебника родного языка, из которого он узнал, **что** такое *часть речи* и *подлежащее*. Компаративист же опирается на идеи, из которых имплицитно исходили и основатели сравнительно-исторического языкознания, но их эксплицировал А. Шлейхер.

Теория отвечает на вопрос «что» и объясняет явление, а метод отвечает на вопрос «как» и дает возможность решать конкретные задачи. Безусловно, детально разработанный компаративный метод – это то, с чем постоянно имеет дело специалист в этой области. Теория же, по крайней мере со времен позитивистов, стала в сравнительно-историческом языкознании ассоциироваться с «игрой – рассуждениями без истории» и неумением «преодолевать подготовительную работу по изучению накопившихся данных по истории языков», в чем обвинял Н.С. Трубецкого А.И. Томсон (цитируется по [Робинсон 2004: 175]). Тем не менее если установление языкового родства – вопрос метода, то само понятие языкового родства, определение причин сходства некоторых, но не всех языков и понимание развития языков как их дробления, но ни в коем случае не сращения, – проблемы теории.

Однако еще Р.О. Шор отмечала, что сравнительно-историческая теория очень бедна. То, что от нее осталось, сводится лишь к нескольким положениям. Главное из них: «Посредством различного развития в разных областях своего распространения один и тот же

язык распадается на несколько языков (диалектов, говоров) в течение второго [исторического] периода... Этот процесс дифференциации может повторяться многократно... Все языки, происходящие из одного праязыка, образуют языковой род, или языковое дерево, которое делится на языковые семьи, или языковые ветви» [Шлейхер 1960: 90–91]. Обратный процесс – скрещение (слияние, конвергенция) языков – теорией не предусмотрен.

Таким образом, центральным пунктом теории А. Шлейхера была так называемая концепция родословного древа. Первоначально был единый праязык, затем в силу исторических условий (одни народы мигрировали в разные стороны, другие оставались на месте) его носители теряли связь друг с другом и праязык распадался на части, которые, в свою очередь, распадались дальше. В схематическом виде такая структура действительно напоминает родословное древо. Однако К. Линней столетием раньше перенес этот принцип из генеалогии в биологическую систематику, а в эпоху Шлейхера появилась теория Ч. Дарвина, сильно повлиявшая на немецкого лингвиста. Лингвистическая систематика, как и биологическая, одновременно являлась и способом рациональной классификации, и средством объяснения исторического развития.

Лингвистическая концепция родословного древа основана на том, что развитие языков, как и развитие животного и растительного мира, идет только одним способом. Языки и языковые группы могут какое угодно число раз дробиться, отдельные ветви могут «отсыхать» (что Шлейхер объяснял на основе идей Дарвина о борьбе за существование), но ни при каких условиях языки не могут скрещиваться между собой. Они расходятся, но не сходятся. Возможны лишь заимствования из родственных и неродственных языков, но они имеют поверхностный характер и не меняют генетическую принадлежность языка. Если языки развиваются от одного праязыка к множеству языков, то лингвист идет в обратном направлении: от множества известных языков к реконструкции все меньшего количества неизвестных праязыков и, наконец, к реконструкции древнейшего праязыка.

Другое важнейшее теоретическое положение, разумеется имплицитно существовавшее и до А. Шлейхера, но четко им сформулированное, звучит так. «Для определения родства языков, объединяемых в языковые роды... решающим является не их форма, а языковая материя, из которой строятся языки. Если два или несколько языков употребляются для выражения значения и отношения настолько близкие звуки, что мысль о случайном совпадении оказывается совершенно неправомерной, и если, далее, совпадения проходят через весь язык и обладают таким характером, что их нельзя объяснить заимствованием слов, то подобного рода тождественные языки, несомненно, происходят из общего языка-основы, они являются родственными» [Шлейхер 1960: 93–94].

По сути, весь сравнительно-исторический метод основывается на этом теоретическом положении. Например, языки Китая и Юго-Восточной Азии очень сходны типологически, т.е. по форме, однако решающего совпадения языковой материи там очень часто нет, и поэтому выделяют не одну, а несколько семей. И родство не приобретает заимствованием, каким бы многочисленным и регулярным оно ни было. Японский язык письменного периода среди языков мира наиболее регулярно соответствует китайскому, однако это не означает родства. Характерно, что японская лингвистика, сравнительно легко освоив структурализм и генеративизм, до сих пор с трудом соглашается с идеей о том, что типологическое сходство не означает родства.

Еще одно теоретическое положение Шлейхера – развитие языков по определенным законам, различным для различных языков, но обладающим общим содержанием. Понятие закона было им взято из естественных наук. В его работах постоянно говорилось о языковых законах, понимаемых аналогично законам природы. «Законы, установленные

Дарвином для видов животных и растений, применимы, по крайней мере, в главных чертах своих, и к организмам языков» [Шлейхер 1960: 98]. «Мы познаем законы, по которым происходит изменение языка, на основе наблюдений над языками, развитие которых мы можем проследить в исторический период на протяжении столетий и даже тысячелетий. Применяя установленные таким путем законы изменения языков, мы продлеваем историю языков в доисторические времена» [Шлейхер 1960: 94]. «Все совершающиеся в жизни языка изменения развиваются постепенно» [Шлейхер 1960: 90].

В таких высказываниях закон понимается максимально широко и не конкретизируется. Однако у Шлейхера можно найти и формулировки, предвосхищающие будущие высказывания младограмматиков: «По отсутствию фонетических законов, действующих без исключений, вполне ясно заметно, что наш письменный язык не есть наречие, живущее в устах народа, или спокойное, беспрепятственное дальнейшее развитие более древней формы языка» [Шлейхер 1960: 98]. То есть глубинно фонетические законы действуют без исключений, но влияние письменности это затемняет.

Но уже в этом пункте можно видеть отличия между А. Шлейхером и последующим развитием компаративистики начиная с младограмматиков. Понятие закона в сравнительно-историческом языкознании с 1870-х гг. стало ассоциироваться с младограмматизмом, хотя оно было уже у А. Шлейхера, но оно, начиная с Х. Остхофа и К. Бругмана, стало видоизменяться. Оно перестало связываться с Ч. Дарвином и вообще с биологизмом и сузило свое значение, сведясь почти исключительно к фонетическому закону. Из элемента теории закон превратился в методическое правило. «Что обычно называется фонетическим законом, это, следовательно, только *формула регулярного соответствия* либо между двумя последовательными формами, либо между двумя диалектами одного и того же языка» [Мейе 1938: 429–430]. Отказались компаративисты и от действия законов без исключений; методически полезно на первом этапе исследований условно исходить из такого положения, но далее могут выделяться исключения, которые надо уметь объяснять. «Исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет вообще никакой цены» [Абаев 2006: 8].

Но вернемся к Шлейхеру. Его теоретические идеи не сводились к выделенным выше принципам. В своих теоретических подходах он одновременно находился под влиянием В. фон Гумбольдта и Ч. Дарвина. В годы, когда он работал, постепенно уходила в прошлое немецкая классическая философия, связанная с именами И. Канта и Г. Гегеля, а в области философии языка – с именем В. фон Гумбольдта, однако ее традиции еще оставались влиятельными. В то же время значительно продвинулась вперед биология, переставшая быть чисто описательной наукой: в 1859 г. появилась теория Ч. Дарвина.

В. фон Гумбольдт стремился выявить общие закономерности развития языков независимо от их родственных отношений и предложил сразу два не совпадающих друг с другом пути такого развития: этапы и стадии, см. [Гумбольдт 1964]. Этапы, не считая этапа происхождения языка, – этапы развития и «тонкого совершенствования». Стадии – изолирующая, агглютинативная и флективная. А. Шлейхер включил в свою концепцию обе классификации, но стадии сохранил в прежнем виде (не упоминая, правда, инкорпорирующие языки), зато один из этапов переосмыслил.

Вслед за В. фон Гумбольдтом А. Шлейхер считал, что «все высшие формы языка возникли из более простых: агглютинирующие из изолирующих, флективные из агглютинирующих» [Шлейхер 1960: 90]. Без оговорок, встречавшихся у В. фон Гумбольдта, он называл китайский язык «языком простейшего строения» [Шлейхер 1960: 101]. «Воз-

никновение высших форм языка» А. Шлейхер, как и В. фон Гумбольдт, относил к этапу развития, который он считал «доисторическим». Затем в обеих концепциях происходил переход к «историческому» этапу, который понимается А. Шлейхером как «упадок». Он отказался от долго господствовавшего принципа постоянного движения языков от простого к сложному. Вместо этого он посчитал, что развитие индоевропейских языков первоначально шло по восходящей линии, достигнув вершины в древнегреческом, латыни и санскрите. Однако затем начался «распад языка в отношении звуков и форм» [Шлейхер 1960: 90], проявляющийся в упрощении морфологии современных языков Европы. Это значительно отличалось от В. фон Гумбольдта, который также считал, что развитие языка на этом этапе прекращается, но вместо распада и регресса видел «тонкое совершенствование».

Здесь на немецкого ученого повлияли идеи биологизма в виде дарвинизма. Историческое языкознание, согласно А. Шлейхеру, «имеет своим предметом описание жизни языка» [Шлейхер 1960: 89]. Эти идеи обосновывались биологическими аргументами: язык сопоставлялся с организмом, который на определенном этапе начинает стареть. Такой подход был не менее априорным, чем концепция «тонкого совершенствования». Большое место в его концепции также занимало перенесение в науку о языке принципов естественного отбора и борьбы за существование. «Жизнь языка не отличается существенно от жизни всех других живых организмов – растений и животных» [Шлейхер 1960: 96]. Лингвистику ученый относил к естественным наукам, а исследователей языка – к естествоиспытателям [Шлейхер 1960: 101].

А. Мейе писал, сравнивая двух величайших предшественников А. Шлейхера: «Бопп пренебрегал общими идеями, предпочитая выяснять точные подробности. Вильгельм фон Гумбольдт, наоборот, в своих сочинениях излагал почти исключительно общие идеи» [Мейе 1938: 451]. А. Шлейхер принадлежал к типу ученых, стремящихся сочетать оба подхода, который во второй половине XIX в. становился все более редким.

В последней четверти XIX в. наступило господство позитивизма, пошедшего по пути Ф. Боппа и избегавшего постановки крупных проблем, которые нельзя было подтвердить или опровергнуть анализом фактов. Законченное выражение позитивизм в языкознании нашел в ведущей школе лингвистики 1870–1910-х гг. – немецкой школе младограмматиков. Они сосредоточились на конкретных проблемах изучения истории языков и реконструкции праязыков и избегали обращения к теории (некоторое исключение здесь составлял Пауль). Б. Дельбрюк считал, что хорошее описание языка совместимо с любой теорией. Один из критиков их подхода писал, что они «в отношении теоретическом были бесплодны» [Бонфанте 1964: 336]. В конкретном анализе данных индоевропейских языков они значительно продвинулись по сравнению с предшественниками, а методы работы с языковым материалом отшлифовали до высочайшего уровня. Сравнительно-исторический метод в основном и теперь при некоторых добавлениях XX в. (внутренняя реконструкция, глоттохронология) используется в доведенном младограмматиками до совершенства виде. И здесь они были продолжателями того, чем занимался А. Шлейхер.

Но уже говорилось, что его труды считались быстро устаревшими. Дело было даже не в том, что он, как часто бывает свойственно первопроходцам, смешивал этапы в конкретных исследованиях, пытался без реконструкции промежуточных звеньев сразу реконструировать индоевропейский праязык и первые успехи в реконструкциях принимал за восстановление подлинного индоевропейского праязыка. Но изменился в значительной степени сам предмет исследований. Представления о языке как организме, естественном отборе, этапах развития языков и др. даже не столько отвергались в позитивистской линг-

вистике, сколько игнорировались. Это «метафизика», которая не должна интересовать серьезного ученого. Натуралистическое направление в языкознании очень быстро ушло на периферию лингвистики; о его истории см. [Стеколыщикова 2020].

Автор статьи об ученом в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона С.К. Булич признавал, что он «должен быть признан одним из творцов современного лингвистического метода, несомненно способствовавшим развитию той точности и строгости, которые теперь ему присущи» [Булич 1903: 693]. В то же время говорится, что А. Шлейхер пытался «уложить живое разнообразие языка» «в немногие довольно деревянные рубрики» [там же], а из его теоретических идей лишь вкратце упомянут естественно-научный подход, зато подробно описаны его конкретные достижения.

Можно сказать, что Шлейхер стремился создать и теорию, и метод компаративного языкознания. В области развития компаративных методов и их конкретного применения он добился многого, а большая часть его теоретических идей (как правило, тех, которые развивали подходы В. фон Гумбольдта и Ч. Дарвина) не оказалась нужна. Но концепция родословного древа, впервые им эксплицитно сформулированная, остается незабываемой, несмотря на многократные указания крупнейших ученых (Х. Шухардта, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Н.С. Трубецкого и др.) на ее априорность и недоказанность.

А. Сеше писал: «Лингвистика фактов сумела самостоятельно пробиться к самым замечательным открытиям. Теоретическая наука лишь следовала за ней». В частности, это относилось к регулярности фонетических законов, не поддающейся «рациональному обоснованию», попытки сформулировать которое не увенчались успехом. «И если мы по-прежнему верим в плодотворность этого принципа, то потому, что он существует и приносит пользу, а совсем не потому, что мы его поняли» [Сеше 2003: 43]. Это было опубликовано в 1908 г. За более чем сто лет понимание так и не пришло. Но «вера в плодотворность» остается, и в ее утверждении большую роль сыграл А. Шлейхер.

ЛИТЕРАТУРА

Абаев В.И. Статьи по теории и истории языкознания. М.: Наука, 2006.

Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. М.: Наука, 1963.

Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия.

Бонфанте Дж. Позиция неолингвистики // Звегинцев В.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Учпедгиз, 1964. С. 336–357.

Булич С. Шлейхер // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 41. СПб., 1903. С. 691–694.

Гумбольдт В. фон. О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1965. С. 73–85.

Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990.

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.: Соцэкгиз, 1938.

Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: Отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов) М.: Индрик, 2004.

Сеше А. Программа и методы теоретической лингвистики. М.: URSS, 2003.

Стеколыцкова И.В. Натуралистическая концепция языка в языкознании XIX века: общее и специфическое: Дисс. ... докт. филол. наук. Мытищи, 2020.

Шлейхер А. Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков (Извлечения). Немецкий язык (Извлечения). Теория Дарвина в применении к науке о языке (Извлечения) // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Учпедгиз, 1960. С. 89–103.

Владимир Михайлович Алпатов
доктор филол. наук, академик РАН
зав. отделом языков Восточной и Юго-Восточной Азии,
руководитель Научно-исследовательского центра
по национально-языковым отношениям
Институт языкознания РАН

Vladimir Mikhailovich Alpatov
Doctor of Philology, Academician of the Russian Academy of Sciences
Head of the Department of Languages of East and Southeast Asia,
Head of Research Center on Ethnic and Language Relations
Institute of linguistics, RAS

А.М. Белов

Фонологическая реконструкция и лингвистическая информация

Аннотация: В работе предлагается новая перспектива сравнительно-исторической методологии, рассматривающая фонологическую реконструкцию как информационную операцию, нацеленную на установление такой системы-посредника между всеми сохранившимися языками-потомками, которая представляла бы собой наиболее близкую всем им информационную структуру. Показано, что несмотря на всеобщее убеждение в незнакомости фонем, фонологические системы представляют собой информационные структуры, способные быть измеренными в битах. Ряд фонологических процессов также могут быть описаны в терминах теории информации, например побитовое (логическое) ИЛИ.

Ключевые слова: сравнительно-историческая реконструкция, фонология, различные признаки, теория информации, битовая модель

A.M. Belov

Phonological Reconstruction and Linguistic Information

Annotation: The paper deals with the new approach to the comparative framework, regarding the phonological reconstruction as an operation with information, which is used to set up such kind of a mediator system between all of the remaining daughter languages, which will be an information structure, the nearest to each other. It is shown, that, despite the common opinion, that phonemes are not signs, the phonological systems should be regarded as information structures, measurable in bits. Some kinds of phonological processes could be described in terms of computer science, e.g. logical disjunction (OR) in vowel contraction.

Key words: comparative reconstruction, phonology, distinctive features, informatics, bit model

В докладе предлагается обсудить общетеоретическую проблему лингвистической реконструкции и ее достоверности с точки зрения лингвистической информации, содержащейся в сравниваемом материале.

Проблема достоверности лингвистических реконструкций обсуждается в сравнительно-историческом языкознании очень давно. В качестве хрестоматийных могут быть приведены (и уже неоднократно приводились) точка зрения Антуана Мейе [Мейе 1938: 74], полагавшего, что «восстановить праязык нельзя» (ее можно назвать «пессимистической») и, напротив, целый ряд «оптимистических» позиций, которые мы можем наблюдать, например, у сторонников макрокомпаративистики, для которых достоверность индоевропейской, праалтайской и т. п. реконструкций служит необходимой ступенью в их макропостроениях. При этом далеко не все ученые, даже симпатизирующие макрокомпаративистике, оказываются скептически настроенными к «пессимистической» позиции А. Мейе.

Так, например, акад. В.А. Дыбо [Дыбо 1994: 44], споря с известной статьей Н.С. Трубецкого, аргументирует в пользу единственности индоевропейского праязыка, продолжая ряд идей именно Мейе. Развивая мысль о том, что сравнительная грамматика есть «система связей между исходным языком и развившимися из него языками», ученый пишет: «Иначе говоря, компаративистская процедура имеет дело с системой соответствий между прая-

зыкам и зафиксированными языками, в более редких случаях – с системой соответствий между корпусом лексем, в определенное время заимствованных одним языком из другого, и современным отражением этого корпуса по языкам (ср. сино-японский, сино-корейский, сино-вьетнамский). То есть предметом исследования в компаративистике является система соответствий между праязыком и потомками. То, что мы имеем на поверхности, – это некий корпус соответствий, который требует для своего объяснения введения протосистемы как системы-посредника. И именно, поскольку данная система есть система соответствий между праязыком и современными языками, она позволяет строить более или менее вероятные гипотезы о системе самого праязыка» [Дыбо 1994: 44].

Может показаться достаточно неожиданным, каким образом аргументация Мейе, сомневавшегося в возможности достоверной реконструкции праязыка, может быть положена в основу системы В.А. Дыбо, призванной показать не только неизбежное единство индоевропейского праязыка, но и приоритет сравнительно-исторического метода в реконструкции над любыми типологическими аргументами [ibid: 44–45]. Однако В.А. Дыбо по сути прав. Правомерность такого взгляда мы сможем увидеть с большей ясностью, если продолжим его размышления о протосистеме как системе-посреднике с той точки зрения, что посредничество это может быть описано с применением элементов теории информации. Ниже приведем ряд идей, которые подробнее будут рассмотрены в докладе.

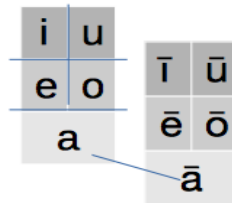
1. Если деятельность Антуана Мейе может быть (с оговорками) отнесена к предструктурализму или раннему структурализму (поскольку сам Мейе до конца не принимал учение Соссюра о синхронии), а научное творчество акад. В.А. Дыбо скорее характеризует поздний структурализм и (возможно) постструктурализм, нельзя не сказать и о структурализме классического вида (Ф. де Соссюр, Э. Бенвенист, Е. Курилович), эпоха которого пролегает точно посередине между этими двумя взятыми нами крайними точками. Одним из важнейших положений структурализма, предложенным самим Ф. де Соссюром, оказывается учение о *значимости* знаков (*valeur*), т. е. об их структурном значении, происходящем из самой организации системы, внутри которой они находятся, и их месте в ней. Значимость знаков является, по сути, семантической (или – шире – семиологической) проблемой, однако если в случае реконструкции символических знаков (например, морфем, слов, грамматических форм) обращение к вопросам семантики мыслится неизбежным и чем-то само собой разумеющимся, то в случае фонологической реконструкции вопросы семантики затрагиваются почти исключительно в случаях ономотопеи, а также проблем т. н. «фоносемантики», справедливо лежащей за пределами сравнительно-исторической науки.

Однако сама возможность реконструкции фонологической протосистемы, равно как и построение той или иной переходной «системы-посредника», существует исключительно потому, что фонемы, не являясь полноценными символическими знаками и не имея в этой связи значения, целиком и полностью наделены структурной значимостью, которая, в свою очередь, всякий раз оказывается хранилищем той или иной информации. Весомость этого факта глубоко понимали уже создатели фонологической теории, особенно в Пражской фонологической школе, предложившие рассматривать каждую фонему в виде суммы различительных признаков и открывшие тем самым дорогу формализации исторических реконструкций¹. Так, например, простейшая система оппозиций вида

/t/	/d/	00	01
/th/	/dh/	10	11

¹ См. [Якобсон 1942/1985]. Большого внимания заслуживает статья [Трубецкой 1933/1989], в которой автор протестует против тезиса о бессмысленности фонетических изменений, полагая стремление к уравновешенности фонологической системы достаточной причиной исторических преобразований. В рамках

исчерпывающе описывается двумя битами информации, а в случае добавления еще одного «измерения» (например, «церебральных» /t/ и /d/) понадобится еще один бит. Для описания системы латинских монофтонгов (без у) требуется 4 бит; с дифтонгами /ae/ и /au/ – 5 бит: (±ниж, ±верх, ±огуб, ±долг, ±дифт). Наглядно каждый бит можно представить в виде сечения, отделяющего в новом «измерении» один подкласс фонем от другого. На схеме ниже эти сечения отмечены удлиненными линиями.



Надо сказать, что, хотя представление фонологической системы синхронии языка в виде последовательно-дихотомической классификация вполне распространенное явление¹, а описание исторических переходов через дифференциальные признаки фонем стало стандартным местом в историческом языкознании, комплексное изучение фонологической информации в языке и ее изменение от одной синхронии к другой выглядит еще пока задачей будущего.

2. Диахронные фонетические законы (в их традиционной интерпретации) разумно рассматривать и как общие системные сдвиги в фонологической синхронии; при этом очевидно, что ряд переходов по «фонологическому закону» может соответствовать 1 биту информации, а ряд – нескольким. Например, закон Раска-Гримма дает нам однобитные преобразования для придыхательных (*dh → /d/: англ. *daughter* при др.-греч. θυγάτηρ) и звонких непридыхательных (*d → /t/: англ. *two* при др.-гр. δύο), однако исторически засвидетельствованные преобразования для глухих (*p → /f/: англ. *foot* при др.-гр. ποδ-) указывают на несколько последовательных однобитных операций. Поскольку любой фонологический сдвиг модифицирует исходную фонологическую информацию, в том числе в сторону ее утраты, реконструкция автоматически предполагает *оценку степени потерь и привнесение недостающей информации* из имеющихся источников. В этом смысле реконструкция будет тем более успешна, чем более число источников превосходит объем информационных потерь. В этом главная причина существенно большей достоверности ближних реконструкций (праславянской, прагерманской и т. п.) над дальними (индоевропейской, сино-кавказской и т. п.), в которых число возможных сдвигов может существенно превосходить число сохранившихся когнатов.

3. Ряд исторических процессов в фонологии не только представляют собой отражение дискретной информации, но и сами по себе могут быть рассмотрены как некоторые информационные операции. Так, слияния гласных, монофтонгизация и т. п. в ряде случаев представляют собой операцию «побитового (логического) ИЛИ» (OR в информатике), когда наличие хотя бы одного из двух возможных (положительных) признаков модифицирует результат в соответствии с этим признаком.

нашего подхода симметрия организации фонологической системы может рассматриваться как более экономное использование ее информационных ресурсов. Что касается самого А. Мейе, то в его знаменитой книге наблюдается некая двойственная позиция. Так, на стр. 67–68 фундаментальные признаки фонем вроде бы противопоставляются ее случайным вариантам; однако из текста на стр. 72–73 единственным предметом сравнительной науки провозглашаются именно соответствия, тогда как «реконструкция» мыслится всего лишь их «сокращенной записью».

¹ См., например: [Златоустова et al. 1997] для звукотипов русского, английского, немецкого и французского языков.

Это мы можем наблюдать, например, в случае ионийско-аттических слияний в греческом, когда наличие хотя бы одного признака (ш+ – широкий гласный, о+ – огубленность, ι+ – наличие компонента /ι/) приводят к существенному изменению результата слияния. См. Примеры 2–3 из [Янзина 2017: 102]; теоретическая модель слияний – [Белов 2009].

Правила вида

$$\varepsilon + \mathbf{o} = \mathbf{o} + \varepsilon = \mathbf{o} + \mathbf{o} = \mathbf{o} + \mathbf{ov} \rightarrow \mathbf{ov} [+ \text{огуб}; - \text{шир}; -\mathbf{i}]$$

$$\begin{aligned} 2) \tau\mu\acute{\alpha}\text{-}\varepsilon\text{-}\tau\epsilon > \tau\mu\text{-}\tilde{\alpha}\text{-}\tau\epsilon - A_{(\text{ш}+ \text{o}- \text{ι}-)} + E_{(\text{ш}- \text{o}- \text{ι}-)} &= A_{(\text{ш}+ \text{o}- \text{ι}-)} [\tilde{\alpha}], \\ \tau\mu\acute{\alpha}\text{-}\text{o}\text{υ}\text{-}\sigma\text{i}(\nu) > \tau\mu\text{-}\tilde{\omega}\text{-}\sigma\text{i}(\nu) - A_{(\text{ш}+ \text{o}- \text{ι}-)} + OY_{(\text{ш}- \text{o}+ \text{ι}-)} &= \Omega_{(\text{ш}+ \text{o}+ \text{ι}-)}, \\ \tau\mu\acute{\alpha}\text{-}\text{o}\text{i}\text{-}\mu\epsilon\nu > \tau\mu\text{-}\tilde{\omega}\text{-}\mu\epsilon\nu - A_{(\text{ш}+ \text{o}- \text{ι}-)} + OI_{(\text{ш}- \text{o}+ \text{ι}+)} &= \Omega I_{(\text{ш}+ \text{o}+ \text{ι}+)}; \\ 3) \delta\eta\lambda\acute{o}\text{-}\eta\text{-}\tau\epsilon > \delta\eta\lambda\text{-}\tilde{\omega}\text{-}\tau\epsilon - O_{(\text{ш}- \text{o}+ \text{ι}-)} + H_{(\text{ш}+ \text{o}- \text{ι}-)} &= \Omega_{(\text{ш}+ \text{o}+ \text{ι}-)}, \\ \delta\eta\lambda\acute{o}\text{-}\varepsilon\text{i} > \delta\eta\lambda\text{-}\text{o}\tilde{\iota} - O_{(\text{ш}- \text{o}+ \text{ι}-)} + E I_{(\text{ш}- \text{o}- \text{ι}+)} &= O I_{(\text{ш}- \text{o}+ \text{ι}+)}, \\ \acute{\epsilon}\delta\eta\lambda\text{o}\text{-}\acute{o}\text{-}\mu\eta\nu > \acute{\epsilon}\delta\eta\lambda\text{-}\text{o}\acute{\upsilon}\text{-}\mu\eta\nu - O_{(\text{ш}- \text{o}+ \text{ι}-)} + O_{(\text{ш}- \text{o}+ \text{ι}-)} &= OY_{(\text{ш}- \text{o}+ \text{ι}-)} \end{aligned}$$

есть, по сути, побитовое ИЛИ для признака огубленности.

Аналогичным образом можно представить и трактовку Ф. де Соссюром [1977: 426–427, 433] в его знаменитом мемуаре сонантических коэффициентов при долгих греческих гласных, в дальнейшем унаследованную ларингальной теорией:

$$\begin{aligned} \phi\bar{\alpha}\mu\acute{\iota} : \phi\omega\nu\acute{\eta} &= *bheAmi : *bhoAneA \text{ (де Соссюр)} \\ &= *bheH_2mi : *bhoH_2neH_2 \text{ (ларингалисты)} \\ \delta\acute{\iota}\delta\omega\mu\acute{\iota} : \delta\tilde{\omega}\rho\omega\nu &= *dideQmi : *doQrom \text{ (де Соссюр)} \\ &= *dideH_3mi : *doH_3rom \text{ (ларингалисты)}, \\ \text{откуда } \omega &= *[\bar{o}] = 1) \text{oA} (\mathbf{oH}_2); 2) \text{eQ} (\mathbf{eH}_3); 3) \text{oQ} (\mathbf{oH}_3) \end{aligned}$$

Однако если де Соссюр действовал последовательно, полагая долгие гласные (условным) результатом слияния, то ларингальная теория здесь предпочла говорить о заместительном удлинении при утраченном «ларингале».

4. За XX в. в сравнительно-историческом индоевропейском языкознании предложено несколько мощных теоретических инструментов, главное место среди которых занимают ларингальная и акцентно-аблаутная модели. Мощность этих систем определяется их большой способностью описывать возможные модификации означающих предполагаемых слов праязыка, однако при неосторожном использовании эти инструменты способны привести к непредсказуемым последствиям. Поскольку возможное число фонологических сдвигов, теоретически допускаемых данными теориями, во много раз превосходит имеющийся фактический материал, чрезвычайно важным при современной фонологической реконструкции означающего оказывается внимание к семантике означаемого. Последнее происходит потому, что необходимость в применении того или иного фонологического инструмента существенно определяется объемом этимологического гнезда, рассматриваемого исследователем.

Так, например, необходимость ларингальной реконструкции для и.-е. корня *ag- / *H₂eg-, помимо общетеоретических соображений в духе Э. Бенвениста, определяется наличием конкретных проблемных этимологий, из которых в ларингальном объяснении более всего нуждаются две: 1) ᾠγανον ‘spoke’, которая мыслится Бекесом [Beekes 2011: 19] как не связанное с этим гнездом слово и 2) ὀγμός ‘борозда’, которое в том же словаре рассматривается как ларингальное чередование (хотя там же упомянут Ройх, предлагавший думать иначе). В работе [Белов 2015] для вполне надежного и.-е. слова ‘вымя’ показано, что проблемная греческая форма οὔθαρ, вынуждавшая исследователей реконструировать для данного слова корень с чередованием (также прибегая к ларингалам) вполне находит свое объяснение в древнегреческом языке; следовательно, необходимость в реконструк-

ции чередования в этом корне возникает лишь тогда, когда мы рассматриваем в данном этимологическом гнезде ряд других слов, связь которых с искомым или неоднозначна, или просто сомнительна (например, рус. *удъ, удый*).

4. Особую информационную проблему представляет собой акцентологическая реконструкция, которая, для разноструктурных языков, как мы понимаем теперь, предполагает не столько прямое сравнение слов или форм между собой, сколько опосредованное сравнение абстрактных систем. Именно акцентологическую реконструкцию можно считать тем полем в сравнительно-исторической фонологии, где привнесение информации из внешних источников (например, типологических наблюдений или аналогических процессов) может иметь не меньшее, а то и большее значение, нежели засвидетельствованные соответствия между языками. Корректное привлечение этих данных есть необходимое требование успеха реконструкции.

ЛИТЕРАТУРА

- Beekes 2010 – *Beekes R.* Etymological Dictionary of Greek. Leiden; Boston: Brill, 2010.
- Белов 2009 – *Белов А.М.* Слияние гласных и их связь с просодической морфологией древнегреческого глагола // *Индоевропейское языкознание и классическая филология*. Т. XIII. СПб.: Наука, 2009. С. 55–60.
- Белов 2015 – *Белов А.М.* Древнегреческое *outhar* ‘вымя’ как просодическая проблема // *Труды Института русского языка имени В.В. Виноградова*. 2015. Т. 4. С. 51–58.
- Дыбо 1994 – *Дыбо В.А.* Язык – этнос – археологическая культура. (Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы) // *Язык – культура – этнос*. М.: Наука, 1994. С. 39–51.
- Златоустова et. al 1997 – *Златоустова Л.В., Потапова Р.К., Потапов В.В., Трунин-Донской В.Н.* Общая и прикладная фонетика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997.
- Мейе 1938 – *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.
- Соссюр 1977 – *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
- Трубецкой 1933/1989 – *Трубецкой Н.С.* К истории задненебных в славянских языках // *Избранные труды по филологии*. М.: Прогресс, 1987. С. 168–179.
- Якобсон 1942/1985 – *Якобсон Р.О.* Звук и значение // *Якобсон Р.О.* Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 30–91.
- Янзина 2017 – *Янзина Э.В.* Учебник древнегреческого языка. Ч. 1: Основы грамматики. М.: Р. Валент, 2017.

Алексей Михайлович Белов
доктор филологических наук
доцент
кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания
МГУ имени М.В. Ломоносова

Alexey M. Belov
Dr. Habil.
Associate Professor
Department of General and Comparative-Historical Linguistics
Lomonosov Moscow State University
indogermanica@yandex.ru

Ж.Ж. Варбот
Об этимологии праслав. *remy, -ene
(К проблеме семантической реконструкции в этимологии)

Аннотация: Семантическая реконструкция, будучи одной из составляющих этимологического анализа, должна учитывать редкие значения лексических соответствий в диалектах как потенциальные реликты характеристик денотатов, которые могут быть основой первичной мотивации слова. В статье рассматривается этимология праслав. *remy, -ene, которое на основе преобладающего значения ‘продолговатая полоска из какого-л. материала как средство связывания, крепления’ считается родственным с *arъto и возводится к и.-е. *(a)re-/*(a)rǎ- ‘соединять’. Однако редкие значения славянских диалектизмов позволяют реконструировать первичное значение *remy, -ene как ‘кожа’ и (учитывая мотивационную модель названий кожи типа праслав. *skora, производного от *sker- ‘драть, рвать’) соответственно предположить родство с праслав. *oriti и происхождение от и.-е. *(e)r-e-/*(e)rǎ- ‘разделять, разрывать’.

Ключевые слова: славянская этимология, семантическая реконструкция, редкие значения диалектизмов

Zh.Zh. Varbot
On Etymology of Proto-Slav. *remy, -ene
(To the Problem of Semantic Reconstruction in Etymology)

Annotation: Semantic reconstruction being the component of etymologic analysis requires attention to uncommon meanings of lexical correspondences in dialects as potential relicts of denotata’s properties that may be the base of initial motivations. In the article the etymology of Proto-Slav. *remy, -ene is regarded. The word with common meaning ‘oblong piece of some material for binding, cramping’ is usually regarded as related with Proto-Slav. *arъto and deriving of I.-E. *(a)re-/*(a)rǎ- ‘bind’. However uncommon meanings of Slavic dialect correspondences offer the possibility to reconstruct the primary meaning of *remy, -ene as ‘skin’ and accordingly (taking in consideration the motivation model of Slav. *skora, derivative of *sker- ‘tear’) to suppose the relationship with Proto-Slav *oriti and derivation of I.-E. *(e)r-e-/*(e)rǎ- ‘separate, tear’.

Key words: Slavic etymology, semantic reconstruction, uncommon meanings of dialect lexic

Семантическая и структурная реконструкции являются двумя опорами конструкции, составляющей сущность этимологической гипотезы. Надежность этой конструкции определяется согласованностью двух аспектов реконструкции. Семантическая реконструкция должна «снимать» поздние изменения значений, определять все семантические составляющие первичной семантики и на их базе – первичную мотивацию. Необходимо считаться с многосторонностью большинства объектов номинации и учитывать различную значимость отдельных свойств = характеристик предметов и явлений для носителей языка в разные периоды истории общества и языка, особенно отличия современных исследованию представлений от представлений древнего этноса, которые и определяли первичную мотивацию наименования [Топоров 1986: 209–211; Топоров 1997: 147–148]. Очевидность этих отличий обязывает к самому тщательному анализу семантики лексического материала, поскольку в деталях толкований значений и употреблений слов мо-

гут скрываться существенные характеристики объектов номинации, а следовательно, и основания первичной номинации: см. реконструкцию семантики и.-е. **dreu-* ‘дерево’ на базе анализа употреблений греч. *dóru* [Бенвенист 1974: 341–342]. Особенно пристально следует анализировать семантику диалектной лексики, поскольку именно там часто кроются реликты древних значений и, возможно, указания на путь к первичной мотивации.

Возможность уточнения на базе славянских диалектизмов первичной семантики праслав. **remy,-ene* ‘ремень’ представляется основанием для предложения новой гипотезы о происхождении этой праславянской лексемы.

Обычно праслав. **remy,-ene* ‘ремень’ характеризуется как этимологически трудное слово [Фасмер III: 468], но преобладает версия о его происхождении из гнезда и.-е. **(a)re-/*(a)rə-* ‘соединять’, при родстве с праслав. **arъto* ‘ярмо’ [Boryś 2007: 532; Snoj 1997: 200–201; Rejzek 2001: 554–555; Králik 2015: 498–499]. Очевидно, что эта версия базируется на толкованиях значений соответствующих славянских слов как обозначений разного рода связок, средств соединения, крепления (в форме продолговатых полос из различных материалов) и на современных представлениях об использовании предмета для связывания, скрепления как его важнейшей характеристике. Однако материалы славянских языков свидетельствуют о вторичности обозначений средств связывания из различных материалов при первичности кожаного ремня. См. противопоставления в русск. поговорках: «Не тужи, у кого мочальные гужи, а тужи, у кого ременные» (этих не свяжешь), «Лычком не привяжешь, так и ремешком не возьмешь», «Пожалеешь лычка, отдашь ремешок» [Даль2 IV: 91]. Еще более существенно, что в польском языке *rzemień* известно как обозначение целой выделанной кожи крупного рогатого скота или коней, что объясняет вторичное значение ‘мешок, сумка’ [Warsz V: 812], см. также слов. *remей* ‘длинный узкий пояс (обычно кожаный), служащий для стягивания, скрепления, соединения; выделанная кожа животных’ [SSJ III:723], русск. диал. якут. *ремень* ‘кожа моржа’ [СРНГ 35: 54]. Показательна синонимия названий летучей мыши в восточславянских диалектах: широко распространенное блр. *кажáн*, укр. *кожáн*, *кажáн*, русск. диал. редк. *кожáн* [ОЛА 13], русск. Коми *кожаная птичка* [СРНГ 14: 51] и русск. чкалов. *ремён-ный мышь*, олон. *ременница* [СРНГ 35: 54]. Вероятная первичность обозначения кожи исключает мотивацию названия по соединению, связыванию. При обращении к принципам мотивации названий кожи в индоевропейских языках обнаруживается преобладание двух типов номинации: по покрытию и по сдиранию, срезанию [Buck 1949: 200, 407], см. праслав. **skora* – производное от **sker-* ‘драть’. Соответственно возможно предположение о родстве праслав. **remy,-ene* с праслав. **or-iti* ‘разрушать’, лит. *irti* ‘распадаться, распарываться’ и происхождении из гнезда и.-е. **(e)r-e-/*(e)rə-* ‘разделять, разрывать’, к которому восходят др.-инд. *īrta* ‘рана’ [Pokorny 1948–1959: 332–333].

ЛИТЕРАТУРА

- Бенвенист Э. Общая лингвистика / Под ред. Ю.С. Степанова. М., 1974.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. 2-е изд. М., 1955 (=1882).
- ОЛА – Общеславянский лингвистический атлас. Т. 13: Животный мир (рук.).
- СРНГ – Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин (вып. 1–23), Ф.П. Соколетов (вып. 24–44). Вып. 1–44. Ленинград – СПб., 1966–2011.
- Топоров В.Н. О некоторых теоретических аспектах этимологии // Этимология. 1984. М., 1986.

- Топоров 1997 – *Топоров В.Н.* К этимологии др.-инд. *kram-* ‘шагать, ступать’ // Этимология. 1994–1996. М., 1997.
- Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка (праславянский лексический фонд) / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева: В 4 т. М., 1964–1973.
- Wiesław B.* *Etymologie słowiańskie i polskie.* Warszawa: SOW, 2007.
- Buck C.D.* *A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages.* Chicago; London, 1949.
- Králik L.* *Stručný etymologický slovník slovenčiny.* Bratislava, 2015.
- Pokorny – Pokorny J.* *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch:* In 2 books. Bern, 1948–1959.
- Rejzek J.* *Český etymologický slovník.* Praha: LEDA, 2001.
- Snoj M.* *Slovenski etimološki slovar.* Ljubljana: Založba Mladinska kniga, 1997.
- SSJ – Slovník slovenského jazyka.* I–V I.D. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie vied, 1959–1968.
- Warsz – Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* *Słownik języka polskiego:* W 2 t. Warszawa etc., 1904–1927 (1952–1953).

Жанна Жановна Варбот
доктор филологических наук
профессор, главный научный сотрудник
зав. отделом этимологии и ономастики
Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН

Zhanna Varbot
Doctor of Philology
Professor
Chief Researcher
Head of the Department of Etymology and Onomastics
V.V. Vinogradov Russian Language Institute RAS
zhannavarbot@yandex.ru

А.В. Вдовиченко

**Язык Нового Завета в сравнительно-исторической парадигме:
издержки метода, смена оптики¹**

Аннотация: Исследование языка Нового Завета в рамках языковой (сравнительно-исторической) парадигмы дает картину всевозможных неясностей и допущений, которые, по-видимому, свидетельствуют об изъянах и издержках метода: язык НЗ предстает одновременно как 1) нормализованный vs ненормализованный, 2) литературный vs нелитературный, 3) особенный vs всеобщий, 4) полностью греческий vs не вполне греческий. Такое состояние теории указывает на необходимость несколько скорректировать языковую исследовательскую оптику и применить коммуникативную модель, основанием которой является понятие семиотического воздействия (целенаправленного изменения внешних когнитивных состояний опосредованными способами, путем демонстрации семиотическим актором собственного акционального состояния). Понимать язык невозможно ввиду отсутствия в нем конкретного актора, который в данном семиотическом воздействии производит референцию на собственные режимы сознания и обеспечивает понимаемое тождество данного знака, «намекая» на эти режимы (объекты референции, ценности, эмоции, видимые связи и пр.). Любая мнемотехническая схема (в том числе «система языка», созданная на основе типологии коммуникативных синтагм) создается исследователями для упрощения доступа к понимаемым режимам сознания конкретных акторов (источников акционального смысла). При этом несомненная операциональная польза сконструированного языка не отменяет его служебной и технической роли. Подсобный инструмент интерпретации не может быть самоценным объектом исследования, но именно это и происходит при попытках описать язык НЗ, чем и обусловлена противоречивость создаваемой лингвокультурной картины.

Ключевые слова: язык Нового Завета, языковая сравнительно-историческая парадигма, коммуникативная модель, коммуникативное воздействие, понимаемые режимы сознания, знак как намек

A.V. Vdovichenko

**The Language of the New Testament in the Comparative Historical
Paradigm: Costs of the Method, Change of Optics**

Annotation: The study of the language of the New Testament within the linguistic (comparative-historical) paradigm gives a picture of all sorts of ambiguities and assumptions, which, apparently, indicate the flaws and costs of the method: the NT language appears simultaneously as 1) normalized vs denormalized, 2) literary vs non-literary, 3) special vs universal, 4) fully Greek vs not quite Greek. This state of the theory indicates the need to somewhat correct the linguistic research optics and apply the communicative model, the basis of which is the concept of semiotic influence (targeted change in external cognitive states in indirect ways, by demonstrating a semiotic actor's own actional state). It is impossible to understand the language due to the absence of a specific actor in it, which, in the given semiotic influence, makes the reference to its own modes of consciousness and ensures the understood identity of the given sign, "hinting" at these modes (objects of reference, values, emotions, visible connections, etc.). Any mnemotechnical scheme (including the "language system" created on the basis of the typology of communicative syntagmas) is created by researchers to simplify access to the understandable modes of

¹ Публикация подготовлена при поддержке РФФ, грант № 22–28–01656 «Коммуникативная референция: эволюция концепции и современное состояние».

consciousness of concrete actors (sources of actional meaning). At the same time, the undoubted operational usefulness of the constructed language does not negate its service and technical role. An auxiliary tool of interpretation cannot be an object of study in itself, but this is exactly what happens when trying to describe the NT language, that ensures the inconsistency of the created linguocultural picture.

Key words: language of the New Testament, linguistic comparative-historical paradigm, communicative model, communicative influence, understood modes of consciousness, sign as a hint

Язык Нового Завета выступает в ряду других языков как вполне целостный и определенный объект сравнительно-исторического исследования. Происхождение, строй и связи этого языка, добытые структуральными методами, дают возможность наблюдать картину всевозможных неясностей и допущений, которые, похоже, свидетельствуют об изъянах и издержках сравнительно-исторической парадигмы и вследствие этого содержат в себе императив корректировки исследовательской оптики.

Только перечисление всех «языков», которые привлекаются исследователями для объяснения конкретных текстов НЗ корпуса (греческий язык, древнегреческий язык, эллинистический греческий язык, нелитературный язык, разговорный язык, общегреческое койнэ, литературное койнэ, нелитературное койнэ, палестинское койнэ, семитизированное койнэ, иудейский греческий, переводной язык, «язык Святого Духа», креольский или композитный язык, малограмотный язык, язык необразованных людей и пр.), а также вспомогательный арсенал уточняющих окоязыковых дефиниций (диалект – аттический, общий, ненормированный аттический, ионийско-аттический, палестинский, восточный; идиолект – Иоанна, Луки, Марка, Матфея, автора Откровения; социолект, регистр, стиль, страта и др.) создают ощущение фундаментальной лингвистической неуверенности: любое из приведенных определений явно не исчерпывает наблюдаемой реальности и обязательно требует уступок и оговорок, которые, в конечном счете, девальвируют данную попытку «схватить» и предъявить то, как говорили и писали подлинные участники лингвокультурной ситуации (заметим, что сама пестрота определений «языков» как раз и отражает эту неуверенность). Так, «греческий», «древнегреческий» и «эллинистический греческий» представляются избыточно обобщенными, неспецифицированными определениями; «нелитературный», «просторечный» и «разговорный» неприменимы к языку, которым множество авторов воспользовалось для создания обширного письменного литературного корпуса (канонические и неканонические евангелия, послания, апокалипсисы и пр.); определения «общий», «общегреческий» язык неудовлетворительны ввиду очевидной негреческой текстуальности, прежде всего обилия в НЗ текстах так называемых семитизмов, которые *ipso verbo* свидетельствуют о негреческих чертах данного языка; в свою очередь, определения «семитизированный», «палестинский», «переводной (интерференционный) язык», «иудейский греческий», подчеркивая особенности, исключают *ipso verbo* всеобщность данного языка, его аутентично греческий характер; определения «малограмотный», «смешанный», «композитный», «язык необразованных простецов», вводя объяснительный принцип «в хаосе – все что угодно», радикально отрицают подлинный религиозно-культурно-исторический фон создания и функционирования НЗ текстов, которые имели обширную аудиторию в виде грекоговорящей иудейской диаспоры, создавались авторами осознанно и целенаправленно, вписывались в имеющиеся условия написания и восприятия (иными словами, «простецами» оказывается подозрительно много авторов и читателей (слушателей), которые вместе уже, пожалуй, претендуют на

то, чтобы быть аутентичным лингвокультурным сообществом со своими собственными авторитетными практиками, в том числе литературными и вообще словосодержащими).

Умножая и без того призрачный «язык» на факторы территории, времени, индивидуальных особенностей, социальных страт, ситуативных регистров, исследователь получает картину столь безотрадную в своей вариативности, что упаковать аутентичные данные в строгую языковую систему («грамматика плюс словарь») окончательно становится для него неисполнимой задачей. Конкретные формы (вербальные клише и комбинаторные правила) по отдельности дают разнонаправленные свидетельства в пользу тех или иных языков, диалектов, норм и пр., но любые попытки констатировать какую-то целостную систему ведут к противоречивым заключениям: этот «язык» одновременно 1) *нормализованный vs ненормализованный*, 2) *литературный vs нелитературный*, 3) *особенный vs всеобщий*, 4) *полностью греческий vs не вполне греческий*.

При этом, несмотря на зловещие заключения лингвистов, авторы НЗ текстов и их аудитория – аутентичные участники лингвокультурной ситуации – вовсе не задумывались о том, на каком языке они говорят / пишут (как и во всех случаях естественных коммуникативных взаимодействий с вовлечением вербального канала). По крайней мере, со всей определенностью можно утверждать, что их понятия о том, какие языки, диалекты, регистры (а также падежи, спряжения, морфемы, времена и пр.) вовлекались ими в данную актуальную коммуникацию, заведомо не совпадали (не совпадают) с понятиями об этом вторичного интерпретатора, в том числе современного исследователя. В то время как исследователь НЗ текстов использует вспомогательные инструменты дешифровки и мнемотехники («язык» и прочая языковая номенклатура), испытывает затруднения и зачастую терпит при этом неудачу, аутентичный участник НЗ коммуникации, не обладая знанием «языка» и лингвистического инструментария, выступал органичным участником лингвокультурной ситуации и, принимая на себя роль автора или реципиента, не терпел никаких неудач и не испытывал никаких затруднений (что происходит при любом говорении / письме на «родном языке»).

Очевидный зазор между *недостаточно эффективным знанием «языка»* (со стороны исследователя) и *вполне эффективным не-знанием «языка»* (со стороны «носителя») делает оправданным вопрос о сути этого зазора: 1) *чем* в действительности пользуется аутентичный коммуникант (заметим, это явно не «язык», изыскиваемый исследователем в рамках сравнительно-исторической или структурной парадигмы) и 2) *что* в действительности изучает исследователь «языка» (заметим, это явно не совпадает с содержанием сознания аутентичного коммуниканта).

Ответы, формулируемые в рамках *коммуникативной* парадигмы (модели), в отличие от *структурно-языковой*, позволяют несколько продвинуться в разрешении как НЗ теоретических затруднений, так и любых случаев использования вербального канала в коммуникативных процедурах.

1) Принципиальной позицией, отличающей коммуникативный подход от сравнительно-исторического (структурно-языкового в своих основаниях), является констатация, что производиться и пониматься в относительном тождестве может только *конкретная процедура семиотического воздействия*, осуществляемая семиотическим актором. Любой коммуникант совершает словосодержащий (или не содержащий слов) поступок, целью которого является *достижение искомых изменений во внешнем (мыслимом как иное) когнитивном состоянии, посредством демонстрации собственного акционального («воздейственного») состояния*. Мыслимое актором воздействие, попытку которого он производит в семиотическом поступке, составляет целевую причину его акта и одновременно – семантический предел («значение» и «смысл») используемых знаковых клише.

В производимом воздействии может содержаться только то, что помыслено актором (так, «значение слова» в идеальной интерпретации не может быть иным, нежели то, что имел в виду сам коммуникант; в воспринятом слове или словесной структуре понимается не она сама, а тот, кто включил данные знаки в состав своего семиотического воздействия). Независимо от вовлеченных каналов (словесного, жестового, остенсивного, пиктографического и пр.), в семиотическом действии всегда интерпретируется *конкретный когнитивный статус данного актора в данный момент*: созданные и назначенные им объекты внимания, предъявляемые им связи, ценности, эмоции, интенции к адресату и пр. Акциональное состояние (например, желание сообщить кому-то о рождении Иисуса) возникает в его сознании вне каких-либо знаков, но совершить попытку воздействия невозможно без целенаправленной семиотической процедуры.

На этом фоне нужно признать, что аутентичный коммуникант, используя в своих воздействиях вербальный канал (слова и словесные формулы), но не представляя вербальные данные в виде грамматических и словарных норм («не зная языка»), владеет *коммуникативными синтагмами* (знаковые клише плюс представимая ситуация воздействия), т. е. знает некоторые более или менее распространенные способы произвести нужные ему изменения в сознании адресата в известных ему (и мыслимому адресату) условиях. Соизмеряя возможности адресата идентифицировать данное когнитивное состояние, семиотический актер шаг за шагом (в «тексте») демонстрирует свой *акциональный режим сознания*, который, при наличии желания и возможности, адресат может воссоздать (понять) в системе мыслимых параметров, сложившихся на момент воздействия. Актер рассчитывает, что адресату будет понятно его, актора, *поведение в данных обстоятельствах*: помещаемые в фокус внимания объекты, устанавливаемые причины и связи, провоцируемые эмоции и пр. Поскольку когнитивные состояния не имеют знаковой (в том числе вербальной) природы, но именно к их пониманию сводится механизм смыслообразования в любой семиотической процедуре, демонстрировать их можно различными (в том числе разноканальными) способами.

2) Акциональная («воздейственная») природа смыслообразования любой семиотической процедуры (и сопутствующие комплексность, многоканальность, конечное незнакомое основание) заставляет видеть в рассуждениях о знаках и знаковых системах, скорее, *вспомогательную и техническую сторону*. Поскольку в не вовлеченном в конкретную семиотическую процедуру теле знака отсутствует собственная референция (ее производит конкретный семиотический актер как указание на собственные режимы сознания, без которых объекта указания не существует), языковой знак, не обладая автономным понимаемым тождеством, не имеет определенного содержания (семантики, смысла, значения). Язык, таким образом, не содержит в себе тождественных смыслов и понимаемых значений. Условно выделяемое тело знака может интерпретироваться как знак только тогда, когда приобретает «означаемое» – конкретно мыслимый контент сознания, который обнаруживается в данном акте. Различные наборы знаковых клише (в том числе вербальные), доступные индивидуальному сознанию из случаев естественного коммуникативного взаимодействия, умещаются в достаточно эластичные рамки систем (подсистем) знаков, но даже они создаются только на основе типологии коммуникативных синтагм и варьируются вместе с варьированием синтагм в конкретных семиотических воздействиях. Так, «система лиц» (как подсистема языка) существуют не благодаря соответствующим вербальным формам, а благодаря естественной коммуникативной диспозиции участников и объектов, вовлеченных в интеракции; при этом нельзя утверждать, что «первое лицо» выражается в языке только формой первого лица (местоимения, гла-

гола и пр.). Поскольку коммуниканта всегда интересует данное новое воздействие (а не употребление знаков по правилам) и поскольку понимаются не знаки, а *сами когнитивные состояния* (по комплексу параметров производимого воздействия), сопутствующий действию знаковый компонент, будучи одним из интегрируемых параметров, не имеет решающего значения, может варьироваться, быть «неправильным» и пр. Так, понимать семиотическое поведение обладателя сознания зачастую можно вовсе без слов, на основе иных, несловесных «знаков» (например, жестов, выражения лица, демонстративного поведения и пр.), поскольку в основе понимания лежит *воссоздаваемое когнитивное состояние*. Даже случаи нес семиотического поведения коммуниканта можно понимать благодаря воссозданию когнитивного статуса актора, по признакам его поведения в данных мыслимых условиях.

Так или иначе, любая мнемотехническая схема (например, «система языка», созданная на основе приблизительной и неполной типологии коммуникативных синтагм) создается исследователями для упрощения доступа к понимаемым режимам сознания конкретных акторов (источников акционального смысла). Однако несомненная операциональная польза сконструированного языка все же не отменяет его служебной и технической роли. Подсобный инструмент интерпретации не может быть самоценным (тем более что он не единственный). Интерпретация, присутствующая в любой семиотической процедуре (несмотря даже на знание единого «языка»), как раз и состоит в обнаружении за «всеобщими знаками» конкретных понимаемых когнитивных состояний, на которые знаки, как и другие параметры производимого действия, лишь *намекают*. Искомые конкретные режимы сознания являются единственным и исключительным источником устанавливаемого смысла и значения.

Возвращаясь к Новозаветным источникам, нужно сказать, что попытки лингвистических объяснений феномена «языка» Нового Завета дают пример *самоценного отношения к языку* (сравнительно-историческая парадигма). Исследователи воспринимают НЗ тексты как собрание вербальных формул, составленных по правилам некоей системы, признавая по умолчанию, что они должны быть написаны на каком-то «языке», который якобы и является основанием смыслообразования. Ввиду невозможности воссоздать целостный строй элементов искомого языка, вина за несоблюдение норм грамматики и словаря (сконструированных исследователями) возлагается исследователями на авторов текстов, которые якобы не владели языком, на котором создали свои пространственные сочинения, были простыми неграмотными людьми, или иностранцами, или просто плохими переводчиками.

Строгие лингвистические аргументы, используемые в рамках структурно-языкового подхода и заводящие в концептуальный тупик, теряют свою строгость и доказательность (а также сопутствующую тупиковость) на фоне *коммуникативной интерпретации*.

Невозможность простоты, безграмотности и неконтролируемого билингвизма авторов вполне очевидна ввиду наличия традиционной среды грекоговорящих иудеев, для которых и среди которых создавались тексты НЗ корпуса. Любой автор как участник ситуации знал / знает о том, как говорить / писать, намного подробнее и «правильнее» любого стороннего интерпретатора, который несколько насильственно стремится констатировать «язык» («инструмент» или «растение») в сознании актуального коммуниканта. Аутентичному коммуниканту, не знающему структурного языка лингвистов, доподлинно известно главное и основное: как реализовать необходимое коммуникативное действие, в то время как исследователь пытается навязать ему знание соссюрвской (одновременно

традиционной античной, объективной, словесной) системы языка, помещая его в прокрустово ложе своей неполной осведомленности о сложных и нюансированных параметрах коммуникативной реальности.

По-видимому, непротиворечиво мыслить статус текстов НЗ корпуса можно в том случае, если считать их *представителями профетических письменных текстов грекоговорящей иудейской диаспоры*, которые по многим признакам подобны образцам современной литургической практики РПЦ: *тексты новозаветного корпуса создавались подобно тому, как в настоящее время создаются новые тексты для православного богослужения* (например, тропарь Новомученикам и исповедникам российским: «Днесь радостно ликует Церковь Русская, / яко мати чада, прославляющи новомученики и исповедники своя...»).

Создавая эти и подобные им произведения, их современные авторы ориентируются на авторитетнейший образец, т. е. на литургический библейский текст Славянской Библии (подобно тому как НЗ авторы видели перед собой в качестве образца текст Септуагинты); русскоязычные авторы используют *церковнославянские вербальные клише*, которые не используются в повседневном общении (подобно тому как НЗ авторы использовали при написании традиционного нарратива – в случае Евангелий – септуагинтальные клише, отличные от обыденных); при этом авторы современных церковнославянских текстов пишут не для носителей обобщенного «русского языка», а для сообщества верующих, в котором приемлема и востребована данная коммуникативная типология – сочетание вербальных клише и воздействий, в которые они вовлечены (подобно тому как НЗ авторы обращались не к обобщенному греческому читателю, а к традиционной синагогальной аудитории); при этом следует отметить, что *родным (разговорным, повседневным) «языком» современных авторов*, очевидно, является не церковнославянский, а русский, на котором говорят их церковные и нецерковные современники-компатриоты (подобно тому как «родным языком» НЗ авторов был тот «вариант койнэ», или «территориальный диалект», на котором говорило их окружение, в большинстве случаев также и языческое).

На основании текста, созданного современным русскоязычным автором по-церковнославянски, нельзя утверждать, что автор не знаком с фактами современной русскоязычной литературы. По крайней мере, такой автор явно не преследовал своей целью стать участником современного русскоязычного литературного процесса, но исполнял другую задачу (подобно тому как НЗ автор, создавая свой «не вполне греческий» текст, не свидетельствовал тем самым о своем незнании классических и современных для него греческих авторов; он «вписывал» свое сочинение в иную традицию, оснащая свой текст характерными для нее формальными и содержательными признаками). Ясно также и то, что современный автор церковнославянского текста ожидал адекватного отношения аудитории к своей «необычной» лингвистической деятельности, поскольку такое отношение предполагается самой практикой литургии в ее традиционных формах (подобно тому как НЗ автор обращался своим сочинением к участникам синагогальных собраний, имеющих особые сформированные Септуагинтой понятия о профетическом тексте).

Интересно заметить и то, что в церковнославянских текстах, созданных современным русскоязычным автором, кропотливый исследователь при желании может обнаружить *значительное число греческих и арамейских интерференций* (как в сфере синтаксиса, так и в сфере лексики), т. е. мнимых следов «билингвального опыта» автора. Однако столь же очевидно и то, что для создания таких «грецизмов» и «арамеизмов», т. е. «ошибок в церковнославянском», автору *вовсе не потребовалось знание греческого и арамейского языков*.

Таким образом, коррекция господствующей (структурно-языковой) теоретической модели, описывающей НЗ вербальный материал, состоит 1) в отказе от идеи самоорганизации вербального материала, признании его смысло-формальной нетождественности, неспособности к автономному смыслообразованию вне тождественно мыслимого коммуникативного действия и 2) в переносе фокуса лингвистических исследований в когнитивную сферу коммуниканта, формировании нового лингвистического объекта для объяснения процессов смыслообразования в сознании участников вербального коммуникативного действия. Преодоление системоцентричной точки зрения выражается в отказе от теоретической игры в предметно представленные «языки» – в пользу поиска и обретения аутентичных критериев смыслообразования, мыслимых участниками коммуникативных интеракций.

Андрей Викторович Вдовиченко
доктор филологических наук
ведущий научный сотрудник
Сектор теоретического языкознания
Институт языкознания РАН,
доцент кафедры теории и истории языка филологического факультета
ПСТГУ

Andrey Vdovichenko
Doctor of Philology
Section of Theoretical Linguistics
Researcher
Institute of Linguistics RAS
Associate Professor at the Department of Theory and History of Language,
Faculty of Philology, St. Tikhon's Orthodox University
an1vdo@mail.ru

О.А. Волошина
Роль метаязыка в работах Августа Шлейхера

Аннотация: В статье прослеживается роль метаязыка лингвистики, разработанного в работах А. Шлейхера. Автор обращает особое внимание на междисциплинарные элементы метаязыка, иницирующие новые теории и методы в языкознании (в частности, роль биологических терминов в создании натуралистического направления в языкознании). Кроме того, в работе подчеркивается роль технических элементов в становлении формализованного метаязыка, помогающего, по мнению А. Шлейхера, приблизить языкознание (глоттику) к естественным наукам, выработать новые методы исследования и получить экспериментально доказанные точные научные результаты (в области сравнительно-исторического языкознания).

Ключевые слова А. Шлейхер, метаязык лингвистики, натурализм в языкознании, технические и графические символы метаязыка лингвистики

O.A. Voloshina
The Role of Metalanguage in the Works of August Schleicher

Annotation: The article traces the role of the metalanguage of linguistics developed in the works of A. Schleicher. The author pays special attention to the interdisciplinary elements of the metalanguage that initiate new theories and methods in linguistics (in particular, the role of biological terms in creating a naturalistic direction in linguistics). In addition, the paper emphasizes the role of technical elements in the formation of a formalized metalanguage, which, according to A. Schleicher, helps to bring linguistics (glottics) closer to the natural sciences, develop new research methods and obtain experimentally proven accurate scientific results (in the field of comparative historical linguistics).

Key words: A. Schleicher, the metalanguage of linguistics, naturalism in linguistics, technical and graphic symbols of the metalanguage of linguistics

Все более широкое распространение в работах современных лингвистов получает понятие (и термин) метаязык. Это говорит об интересе современной науки не просто к описанию конкретного объекта (язык, текст, понятийно-терминологическая система, теория и т. п.), но к попытке его нового истолкования, интерпретации и возможности инкорпорации в сложную систему современного знания. Современная лингвистика в рамках разработки абстрактного и формализованного метаязыка решает проблему формы, в которой воплощаются достижения науки о языке, – и выстраивается новый формат развития языкознания в тесной связи с другими науками.

Стоит заметить, что даже среди лингвистов нет согласия в понимании метаязыка – его свойств, структуры и функций (см. [Лесников 2012]). Разногласия в определении этого понятия усиливаются, если речь идет о метаязыке, функционирующем в рамках самых разных дисциплин: математики, логики, информатики, языкознания и др.

Общеизвестно, что метаязык понимается как язык «второго порядка», т. е. язык описания языка-объекта¹. Согласно этому широкому определению, метаязык включает специ-

¹ В работе «Семантическая концепция истины и основания семантики» Альфред Тарский предлагает различать язык-объект и язык описания – метаязык [Тарский 1998: 101]. С тех пор ученые неоднократно указывают на функцию метаязыка по описанию, структурированию и научному представлению языка-объекта. В частности, метаязык в лингвистике определяется как «язык «второго порядка», по отношению к которому естественный человеческий язык выступает как «язык-объект», т. е. как предмет языковедческого исследования» [Гвишиани 1990: 297].

альную терминологию, технические (символические) обозначения, графические средства подачи материала, структуру составления научного текста (композиция, перекрестные ссылки, указания на базовый метатекст и т. п.). Мы также придерживаемся широкого понимания метаязыка как *формализованной абстрактной системы описания языка-объекта* (для лингвистики – естественного человеческого языка), *которая может применяться на уровне междисциплинарных исследований для описания языков-объектов разных наук.*

Современная лингвистика, активно выстраивающая междисциплинарные связи между различными науками, перенимает элементы метаязыка у других наук – психологии, когнитивной науки, математики, логики и др. Заимствование элементов метаязыка создает возможности для формирования новых направлений в языкознании, новых теорий и методов исследования языкового материала. Например, тесный контакт лингвистики с психологией привел к созданию междисциплинарной области психолингвистики и широкому использованию метода эксперимента в лингвистических исследованиях.

Одним из первых языковедов, разрабатывавших метаязык лингвистики и применявших его с успехом в собственных работах, был выдающийся немецкий ученый середины XIX в. Август Шлейхер (1821–1868). Пристальное внимание к языку описания в работах Шлейхера объясняется стремлением ученого противопоставить филологию и языкознание (глоттику), приблизить языкознание к естественным наукам путем применения точных методов исследования материала, благодаря которым языковеды смогут получить объективный научный результат.

Шлейхер предлагает обратиться к передовой науке своего времени – биологии – и, воодушевленный работами Ч. Дарвина, пытается перенести на почву языкознания методы и приемы, а также терминологию, разработанную в области биологии путем наблюдения над строением (морфологией) живых организмов.



По убеждению Шлейхера, именно строгий метод позволит создать науку, лишенную субъективизма: «Столь же искренно желаю, чтобы языковеды (языкоиспытатели) приняли тот же метод, которым пользуются естествоиспытатели... Только знакомство со строгим методом естествоиспытателей дает твердое убеждение, что науки имеют достоинство

только факт, установленный верным, строго объективным наблюдением, и основанный на нем правильный вывод... Только точное наблюдение организмов и законов их жизни... должны служить основанием для нашей науки. Всякая болтовня, лишенная этой твердой основы, как бы остроумна она ни была, не имеет решительно никакого достоинства» [Шлейхер 1864: 4].

Однако Шлейхер понимает, конечно, что в современной ему лингвистике нет такой же стройной теории эволюции объекта исследования, и сам предлагает вариант ее построения. В работе «Теория Дарвина и наука о языке» (1863) Шлейхер впервые формулирует новую теорию языка, в рамках которой язык отождествлялся с живым организмом, а развитие языка понималось как рост этого организма: «Жизнь языка не отличается существенно от жизни всех других живых организмов – растений и животных» [Шлейхер 1864: 14].

В работе «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение избранных пород в борьбе за существование» (1859) Дарвин писал «Наши классификации превратятся, насколько это возможно, в родословные, и тогда в действительности они

представят нам то, что по праву можно будет назвать планом творения... Мы получим уверенность в том, что все особи одного вида и все близко между собой сродные виды большинства родов, в пределах не очень отдаленного периода времени, *произошли от одного общего родителя и расселились из одного места их зарождения*» [Дарвин 1935: 589].

Такой подход к классификации языков применяет и Шлейхер – языки классифицируются в группы в зависимости от общности происхождения; языки, произошедшие из общего источника путем расхождения (дивергенции), называются родственными и объединяются в общую семью языков.

Важно отметить, что Шлейхер перенимает не только термин (язык называли *организмом* и до него, например Ф. Бопп или Фр. Шлегель), предлагается заимствовать у биологии сам метод классификации языков мира (с опорой на морфологию¹, на строение слова, в результате чего получилась стадильная классификация языков мира²), гипотезы объяснения происхождения и развития языков мира; в частности, Шлейхер даже говорит о борьбе за существование среди языков и объясняет отсутствие явных генетических связей баскского языка тем, что он остался единственным представителем вымершей в результате естественного отбора семьи языков, плохо приспособленной к жестким условиям конкуренции. Язык отождествляется с живым организмом, возникшим и растущим по собственным (присущим ему от природы) законам.

Как известно, Дарвин выдвинул идею эволюции (исторического изменения, развития) живых организмов. Воодушевленный этой идеей, Шлейхер применяет в языкознании идею жесткой исторической преемственности языковых фактов, что превращает лингвистику из описательной науки в объяснительную. Именно историческое развитие, преобразование языковых форм по определенной, выведенной на наблюдаемых языковых фактах схеме позволяет Шлейхеру сформулировать методикку реконструкции праязыковых форм, не засвидетельствованных ни памятниками письменности, ни живыми языками³.

Развитие языков проходит по строгим законам, понимание которых Шлейхер также почерпнул у Дарвина⁴: «законы, установленные Дарвином для видов животных и растений, применимы, по крайней мере в главных чертах своих, и к организмам языков...» [Шлейхер 1865: 5]. Теперь осталось выявить и сформулировать эти законы, потому что только при их помощи мы сможем правильно понять строение и эволюцию языков. «Наблюдение показывает, что все *живые организмы... изменяются по известным законам*. Эти изменения организмов (их жизнь) составляют настоящую их сущность» [Шлейхер 1865: 4].

¹ Термин «морфология» (от греч. *морφή* – «форма», *λόγος* – «слово, учение», т. е. «учение о форме») был заимствован языкознанием из естественных наук во второй половине XIX в. Биологи оперируют понятием «морфология органического мира», описывая различные формы живых существ, а в геологии активно применяется описание «морфологии горных пород» (осадочные, вулканические и т. п.).

² О типологической стадильной классификации языков А. Шлейхера ученые неоднократно писали (см., напр.: [Волошина 2013: 96–111]), мы же подчеркнем здесь, что каждой ступени развития языка Шлейхер находит аналог в мире живых организмов: структуре *моносиллабического* языка (Einsylbige Sprachklasse) соответствует *одноклеточный живой организм*; *агглютинативному* (Agglutinirende Sprachklasse) «присоединяющему» соответствуют растения, грибы и *простейшие многоклеточные животные*, а *флективному* типу (Flectirende Sprachklasse) языка соответствуют *высшие многоклеточные организмы* [Шлейхер 1865: 2–13].

³ Очевидно, идею реконструкции праязыков он также воспринял у биологов, реконструирующих организмы ископаемых животных [Кузнецов 2004: 240].

⁴ Дарвин впервые формулирует принцип закономерного изменения органического мира: «Любопытно созерцать густо заросший берег, покрытый многочисленными, разнообразными растениями; с птицами, поющими в кустах, с порхающими вокруг насекомыми, с червями, ползающими в сырой земле; и думать, что все эти прекрасно построенные формы, столь различные одна от другой и так сложно зависящие друг от друга, были созданы благодаря *законам*, еще и теперь действующим вокруг нас» [Дарвин 1935: 591].

По аналогии с «родословными классификациями» Дарвина Шлейхер предлагает создать генеалогическую классификацию родственных индоевропейских языков, т. е. объединить языки по общему происхождению (по родству). Шлейхер комментирует: «Изображаемое нашим чертежом, можно бы словами выразить следующим образом: в древнейшем периоде жизни человеческого рода существовал язык, первобытный индо-германский... По истечении некоторого времени, в которое говорили этим первобытным языком целые ряды поколений, он, в различных областях населения, принимал постепенно различный характер, так что под конец образовалось два языка... Каждый из этих языков подвергался еще по несколько раз процессу разделения» [Шлейхер 1864: 7].

Конечно, строго бинарная бифуркация родственных языков была симметричной схемой, которая втискивала реальный языковой материала в прокрустово ложе готовой теории, однако, при всех недостатках родословного древа, картинка дает наглядное изображение дивергентного развития языков, показывает дальнейшее родство (германские и арийские языки) и ближнее родство (славянские и балтийские). Не случайно этот граф, демонстрирующий связи между родственными языками, оказался таким «живучим». Сам Шлейхер точно в соответствии со своей картинкой поставил задачу реконструкции общего прабалтославянского языка, а затем и общего прагермано-балто-славянского (в реальности существования этих праязыков, точно соответствующих ветвям его древа, Шлейхер не сомневался¹).

Стараясь не пересказывать хорошо известные лингвистам положения натуралистической теории Августа Шлейхера, мы хотим лишь подчеркнуть, что перенесенные на лингвистическую почву из биологии методы и терминология позволили создать новую научную теорию в языкознании, лишив, как казалась Шлейхеру, лингвистику субъективного подхода в описании языков мира и поставив лингвистику в один ряд с передовыми естественными науками. Будучи уверенным в огромном будущем методов естественных наук для развития лингвистики, Шлейхер писал: «При тех испытанных средствах, какие имеет ныне языкознание в своем методе, мы надеемся, что нам удастся некогда представить наш предмет в строгой обработке... Методическое языкознание... до сих пор успело так много и такими верными результатами расширить круг человеческого знания, что мы можем с радостною уверенностью ожидать дальнейшего развития нашей науки, не опасаясь преувеличения своих на нее надежд» [Шлейхер 1865: 64]. Биологическая метафора оказалась плодотворной и для сравнительно-исторического языкознания, и для развития типологии².

Таким образом, Шлейхер ввел в лингвистический обиход базовую метафору *язык есть организм* и построил на ее основе натуралистическое направление в языкознании. Фундаментальная (концептуальная) метафора вызвала к жизни характеристики и свойства объекта: как живой организм проживает разные этапы, так и языки, развиваясь, про-

¹ Будучи приглашенным в императорскую Академию наук в Россию, Шлейхер начинает работать над реализацией своего грандиозного проекта: он исследует основы числительных в германских, славянских и литовском языках, надеясь обнаружить, во-первых, сходство между этими языками, их объединяющее, и, во-вторых, отличие этих языков от других индоевропейских языков. В рамках этой работы Шлейхер опубликовал две статьи на русском языке: Тэмы имен числительных (количественных и порядочных) в литво-славянском и немецком языках // Записки императорской Академии наук. СПб., 1866. Т. 10. Кн. 2; Краткий очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индо-германских языков // Записки императорской Академии наук. СПб., 1865. Т. 8. Кн. 1. Преждевременная кончина Шлейхера оборвала его научную деятельность, однако представляется, что ему вряд ли удалось бы реконструировать с большой степенью достоверности прагермано-балто-славянский язык.

² Кроме того, эта метафора получила своеобразное преломление в работах Р. Якобсона и Н.С. Трубецкого по диахронии, превратившись в метафору антидарвиновской биологии [Серио 1995: 332].

ходят жизненные стадии: детство, юность, зрелость, старость и смерть (каждому периоду соответствует определенное строение языкового организма)¹. Как у живого организма, у языка есть близкие и дальние родственники, общие предки (праязык) и т. п. Именно натуралистическая концепция вызвала к жизни метафору *жизнь языка*.

Шлейхер, говоря современным языком, создал новую парадигму в языкознании, используя терминологию и методику биологии в качестве метаязыка и метатеории, применимой в языкознании. Опираясь на методы и теории естественных наук, он мечтал представить грандиозную картину эволюции языков мира, в которой каждый язык получил бы строго отведенное ему место в соответствии с классификацией по морфологическому принципу.

Натуралистическая модель языкознания XIX в., построенная на биологической метафоре, претерпевает изменение, переосмысливается и успешно инкорпорируется в теорию сравнительно-исторического (и общего) языкознания². Как мы уже сказали, метафоры динамичны по своей природе и очень удобны как инструмент нового осмысления научного объекта. Конечно, современные лингвисты давно не отождествляют язык и живой организм, но мы говорим о *жизни языка*, используем картинку *родословного древа*, и в выражениях *синхронный срез* вновь оживает представление о языковом развитии как о растущем дереве, когда статичное состояние языковой системы уподобляется спилу ствола, на котором видны древесные кольца, указывающие на возраст дерева, а синхронный срез языка, согласно А. Лескину, может показывать на «спиле» диалектные зоны³.

По словам С.Н. Кузнецова, «“Биологическая метафора”... в XIX в. постепенно распространилась, помимо языкознания, и на другие науки, чтобы затем вновь оказать воздействие на языкознание уже благодаря усвоению понятийного аппарата этих наук» [Кузнецов 2004: 244]. Очевидно, что биологическая метафора как часть метаязыка разных наук плодотворно используется в междисциплинарном пространстве, получая всё новые оттенки значения в контексте конкретного языка науки, а затем вновь возвращаясь на метаязыковую орбиту.

Помимо биологических терминов и графического изображения родословного древа в виде графа, Шлейхер использовал технические обозначения, причем некоторые вошли в обиход метаязыка лингвистики. Так, Шлейхер предложил использовать своеобразный код для записи схем словоформ (формул, отражающих строение слова) в типологической классификации языков. Шлейхер не случайно прибегает к символическим обозначениям, они помогают упорядочить, структурировать, а значит, сделать более стройной типологическую классификацию языков, основанную на строении слова.

¹ С.Н. Кузнецов обращает внимание на то, что «из двух возможных моделей развития – онтогенетической и филогенетической – Шлейхер выбирает первую, которая, хотя и является прототипической, менее всего подходит к языку, так как рисует развитие как замкнутый, конечный во времени процесс, начинающийся рождением, проходящий различные возрастные стадии и завершаемый естественно наступающей смертью. Эта модель никак не подкрепляется языковыми фактами и, действительно, не может прилагаться к языку как социальной системе, наоборот, филогенетическая модель вполне применима к языку, так как она предусматривает бесконечный процесс развития, не стесненный какими-либо ограничениями во времени и предустановленными стадиями развития» [Кузнецов 2004: 239].

² «Сравнительно-историческое языкознание с самого начала оказывается пронизанным прямыми заимствованиями или рефлексамидей, которыми наука обязана биологии (“биологическая метафора”»)» [Кузнецов 2004: 241].

³ В частности, именно так А. Лескин предлагал совместить теорию родословного древа Августа Шлейхера и теорию волн Шмидта: спил ствола родословного древа (уровня общего праязыка) должен показать отсутствие единства уже в самом праязыке, отмечая диалектные зоны – первые расхождения индоевропейского праязыкового континуума. «Предполагаемые Шмидтом переходы перемен, требующие географической непрерывности индогерманской страны, становятся понятны лишь в том случае, если эта непрерывная страна была сравнительно невелика... А когда так, то возможно сочетание теории переходов перемен с генеалогической теорией» [Шрадер 2011: 110].

Схему строения слова Шлейхер представляет при помощи «рода алгебраических знаков»: корень предлагает обозначить как R (radix), один или несколько суффиксов (постфиксов) – s, префиксы (приставки перед словом) – p, инфиксы (вставки) – i [Шлейхер 1865: 27]. Слово китайского языка состоит из одного корня, поэтому схематично его можно изобразить как R. Далее эта форма слова развивалась и усложнялась: к простому корню присоединялся аффикс, и слово приобрело вид Rs [Шлейхер 1865: 28–29]. Для слова индогерманских языков Шлейхер предлагает формулу **Rxs**, где **Rx** обозначает корень с морфонологическим чередованием гласных, или, говоря словами Шлейхера, «правильно измененный корень с одним или несколькими суффиксами – **Rxss**, например, вез-е-ть, воз-и-ть» [Шлейхер 1865: 27]. А для семитских языков Шлейхер предлагает формулу **pRx**, поскольку в этих языках много префиксов [Шлейхер 1865: 27].

В «Компендиуме по сравнительной грамматике индогерманских языков» («Compendium der verglichen den Grammatik der indogermanischen Sprachen»; Weimar, 1861) Шлейхер впервые вводит схематичное изображение корня – $\sqrt{\quad}$ и знак астериск * для обозначения реконструированной формы, а не реально засвидетельствованной памятником письменности.

Шлейхер вводит в лингвистический обиход символические обозначения, часть которых прочно вошла в арсенал метаязыка (например, знак астериск). Именно Шлейхер впервые стал использовать символические обозначения для представления структуры слова в типологических классификациях, такая символическая запись высокого уровня абстракции оказалась удобной для описания типов языков, не случайно примеры подобной символизации мы находим в работах последующих типологов.

Таким образом, Шлейхер разрабатывал особый метаязык лингвистического описания, который не только способствовал развитию большей абстрактности метаязыка языкознания, но и стал механизмом обнаружения неожиданных связей между разными науками, инструментом построения новых научных теорий междисциплинарного характера.

ЛИТЕРАТУРА

- Волошина О.А.* «Биологическая теория языка» Августа Шлейхера и ее значение для теории компаративистики // Современные методы сравнительно-исторических исследований: Материалы VIII Международной научной конференции по сравнительно-историческому языкознанию. Москва. 25–27 сентября 2013 г. М., 2013. С. 96–111.
- Волошина О.А.* «Компендиум» Августа Шлейхера как подведение итогов и взгляд в будущее // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. М., 2014. № 1. С. 26–35.
- Гвишиани Н.Б.* Метаязык // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 297.
- Дарвин Ч.* Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение избранных пород в борьбе за существование / Пер. К.А. Тимирязева. М.; Л., 1935. 608 с.
- Кузнецов С.Н.* Язык и его законы. Развитие как «биологическая метафора» // Сравнительно-историческое исследование языков: современное состояние и перспективы: Сборник статей по материалам международной научной конференции (Москва, 22–24 января 2003 г.). М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. С. 237–253.

- Лесников С.В.* Аналитический обзор определений термина «метаязык» // *Метаязык науки: Материалы международной научной конференции.* Сыктывкар: СыктГУ, 2012. С. 60–73.
- Серио П.* Лингвистика и биология. У истоков структурализма: биологическая дискуссия в России // *Язык и наука конца XX в.* М., 1995. С. 321–340.
- Шлейхер А.* Краткий очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индо-германских языков // *Записки императорской Академии наук.* СПб., 1865. Т. 8. Кн. 1.
- Шлейхер А.* Теория Дарвина в применении к науке о языке. Публичное послание доктору Эрнсту Генкелю, э.о. профессору зоологии и директору зоологического музея при Йенском университете. СПб., 1864.
- Шрадер О.* Сравнительное языковедение и первобытная история. Лингвистико-исторические материалы для исследования индогерманской древности. 3-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2011. 496 с.

Оксана Анатольевна Волошина
кандидат филологических наук
доцент
кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания
филологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова

Oksana Voloshina
PhD
Associate Professor
Department of General and Comparative-Historical Linguistics
Faculty of Philology
Lomonosov Moscow State University
oxanav2005@mail.ru

Н.Л. Грейдина

**Идеи В. Гумбольдта в изучении современного публичного дискурса
(на основе сравнительного анализа английского и русского языков)**

Аннотация: Основной проблемой исследования является речь как живой организм, который отражает взаимозависимость процессов речевыражения и речепонимания. К первому из них относится метафоризация, являющаяся одним из способов речевой выразительности в методологии В. Гумбольдта. Методология исследования представлена методами контент-анализа (содержательного и структурного), интент-анализа, дискурс-анализа с опорой на сопоставительный анализ. Материал исследования представляет собой медийный текст. Результаты исследовательской работы отражают значимость учения В. Гумбольдта в ходе теоретического осмысления и практико-ориентированной научной деятельности заявленной проблемы.

Ключевые слова: методология В. Гумбольдта; публичный дискурс; процессы речевыражения и речепонимания; речевая выразительность; метафоризация; медийный текст

N.L. Greidina

**Ideas of W. Humboldt in the Study of Contemporary Public Discourse
(based on a comparative analysis of the English and Russian languages)**

Annotation: The main problem of the study is speech as a living organism, which reflects the interdependence of the processes of speech expression and speech understanding. The first of them is metaphorization, which is one of the ways of speech expressiveness in the methodology of W. Humboldt. The research methodology is presented by methods of content analysis (content and structural), intent analysis, discourse analysis based on comparative analysis. The research material is a media text. The results of the research work reflect the significance of the conception of W. Humboldt in the course of theoretical understanding and practice-oriented scientific activity of the stated problem.

Key words: W. Humboldt's methodology; public discourse; processes of speech expression and speech understanding; speech expressiveness; metaphorization; media text

Развивая идеи В. Гумбольдта по определению речи как способа взаимодействия слов и мыслительных операций, а языка как духа народа, актуальным представляется подвергнуть анализу публичный дискурс на материале английского и русского языков.

Действительно, речь, по В. Гумбольдту, является живым организмом, отражая общественное развитие. Это поднимает на поверхность анализ взаимозависимости процессов речи и ее понимания.

Введение метафор в плоскость публичного дискурса позволяет подвергнуть последний анализу не только в плане понимания коммуникативного контекста, но и создания действительности. Более того, метафора «обогащает понимание человеческих действий, знаний и языка» [Hoffman 1987: 152], позволяет «выражать невыразимое» [Ортони 1990: 215].

Соответственно, метафоризация является метасредством, позволяющим соотнести языковой и мыслительный субстраты.

А.П. Чудинов обосновал специфику российской метафорической модели «российская действительность – это непрекращающаяся война» [Чудинов 2001: 38]. При этом войну можно определить как организованную вооруженную борьбу, в переносном смысле – как состояние вражды, борьбу с кем-либо или чем-либо.

Развивая мысль А.П. Чудинова, важно привести метафору К.В. Клаузевица «война есть продолжение политики иными средствами» [Clausewitz 1989: 47], которая выявляет приоритет метафоры в понимании войны.

Военная метафоризация не только отражает, но во многих случаях и навязывает социуму агрессивные и антагонистические модели восприятия публичного дискурса, его соответствующую интерпретацию и дальнейшее развитие. Милитарные метафоры актуализируют социальную конфронтацию и настраивают общественное сознание на противостояние. Вербальная репрезентация военной метафоризации становится введением осложнения ситуативного коммуникативного контекста. Принципы военной жизни начинают определять социальную реальность, стирая грани между словесной, мнимой войной и реальным противоборством.

В сопряжении с метафорическим освоением публичного дискурса необходимо рассмотреть понятие «ковид» и способы его языковой репрезентации в английском и русском языках.

В рамках содержательного контент-анализа инфовнедрения понятия «ковид» наблюдается частотное использование метафоры. Последняя представляет собой языковой конструкт, способный осуществить перенос значения на основе сходства, проявляя сочетание возможностей реализации мышления средствами языка. Наряду с мыслительными построениями метафора вводит в языковую плоскость публичной коммуникации ценностные ориентиры, морально-нравственные установки представителей этнообщности. Таким образом, создание метафоры представляет собой соединение реальности вне языка и сущностного явления внутри языка. Как результат – возможное создание новой реальности, одним из способов является широко исследованное воздействие на мысли и чувства носителей и пользователей языка [Арутюнова 1999; Clausewitz 1989; Hardy 2019].

На основе содержательного контент-анализа вербализация понятия «коронавирус» связывается с его отрицательной категоризацией со стороны как продуцентов, так и потребителей информации.

В рамках русскоязычного публичного дискурса появляется обозначение коронавируса как агрессора: «вирус убил» [Веденяпин 2020], «окопный вирус, выводящий из строя целые сферы» [Веденяпин 2020], «в борьбе на передовой с вирусом» [Веденяпин 2020], «вирус-агент» [Соловьев 2020], «оперативный штаб по борьбе с коронавирусом» [Соловьев 2020], «сражение с вирусом» [Соловьев 2020], «коронавойна» [Белков 2020].

Доминирование военной ориентации русскоязычных метафор объясняется многочисленными исследованиями [Баранов 1991; Солганик 2002], указывающими на характеристику милитаризованности сознания представителей русской культуры. Это может быть объяснено тем фактом, что военный опыт российского социума генетически находит отражение в национально-культурной специфике его ментальности. Подобная специфика не должна быть интерпретирована как концептуальная ориентация на военную агрессию и вектор недовольства. Это свидетельство военизированности языка современной эпохи. С опорой на созданные и культивируемые СМИ образы носители русского языка в метафорических номинациях публичного дискурса конструируют реалии действительности.

В контексте англоязычного публичного дискурса обозначение коронавируса проявляется, с одной стороны, как неопознанный и опасный враг: «killer virus» («вирус-убийца») [Baker 2020], «mass casualty» («массовый несчастный случай») [Baker 2020], «a “gaping hole” in America» («зияющая дыра» Америки») [Campbell, Doshi 2020], «the coronavirus was “rounding the corner”» («коронавирус «заворачивает за угол») [Biscop 2020], «the

coronavirus invaded our shores» («коронавирус вторгся в наши берега») [O'Grady 2020], «race into action with virus» («броситься в бой коронавирусом») [Campbell, Doshi 2020], «a time of national crisis» («время национального кризиса») [Baker 2020], «this mess» («этот беспорядок») [Campbell, Doshi 2020], «a perilous moment for the United States» («опасный момент для Соединенных Штатов») [Baker 2020]; с другой стороны, как сверхзадача: «our goal» («наша цель») [Baker 2020], «the new high» («новый максимум») [O'Grady 2020], «the problem No. 1» («проблема номер один») [Baker 2020], «the only one herculean task» («единственная геркулесова задача») [Campbell, Doshi 2020].

Выявленные англоязычные метафоры характеризуются меньшей степенью военизированности, более общественно ориентированы.

Сравнительный анализ позволяет определить языковое окружение коронавируса в английском и русском языках, зафиксировав следующие понятия и сферы:

- 1) инфекция, инфекционный агент, инфекционная болезнь, пандемия, экосистема;
- 2) искусственные укрепления и сооружения, траншеи, оборонительный рубеж, ближайшая к неприятелю местность;
- 3) стрельба, военная техника, различные виды вооружений;
- 4) паника, истерика, страх, беспомощность, бессилие;
- 5) сражение, конфликт, претензии, столкновение сил, военные действия, боевые действия, вооруженное противоборство, театр войны, военная кампания, вооруженные силы;
- 6) оборона, защитные действия, удержание наступления противника, временно нештатный орган управления.

В результате проведенного исследования осуществлена разработка комбинации методов для адекватной оценки текстов публичного дискурса ковидной тематической направленности. Сочетаемое совмещение исследовательских методов контент-анализа (содержательного и структурного), интент-анализа, дискурс-анализа с опорой на сопоставительный анализ позволяет определить продуктивные способы речевой выразительности современного публичного дискурса. Одним из них является метафоризация последнего, характеризующегося ковидной тематической направленностью.

Анализ тональности текстов ковидной направленности построен на лингвистическом ресурсе, предусматривающем интерпретацию тонального фрейма как эмоциональную линию взаимодействия между слотами фрейма. Подобный подход позволяет трансформировать имплицитную тональность в объективно эксплицитную.

Если при использовании классического подхода анализ тональности текстов направлен на выделение мнения на уровне конкретной единицы, или компонента, то в приведенном описании лингвистического исследования оценивание производится на уровне общего смысла анализируемого контекста. Классификация была построена на бинарной шкале – позитивный или негативный смысл. Метафорическое моделирование смысла подвергнутых анализу англоязычных и русскоязычных текстов ковидной направленности зафиксировало негативную составляющую тональности.

Таким образом, идеи В. Гумбольдта продолжают быть востребованными и обеспечивают комплексное познание публичного информационного пространства. Совмещение сочетаемых методов взаимодополняющего характера позволяет осуществить всесторонний анализ публичного дискурса. Одним из видов рассматриваемого дискурса является ковидная тематически ориентированная плоскость. Применение симбиоза вышеобозначенных методов выявляет основание не только для глубокого понимания информационного пространства, но и для его конструирования. Тематически ковидная плоскость пуб-

личного дискурса трансформируется из биологической и медицинской в политическую. Ковид можно назвать политическим вирусом, способным нейтрализовать как мировую политическую повестку, так и политические планы государств, превращая действительность в военно-политическую пандемию.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова Н.Д.* Язык и мир человека. М.: Язык, 1999. 896 с.
- Баранов А.Н., Караулов Ю.Н.* Метафоры общественного диалога: война или согласие // Знание – сила. 1991. № 10. С. 60–63.
- Белков А.Т.* Коронавирус как мировая война // Известия. 2020. № 179. 19 нояб. С. 2.
- Веденяпин П.М.* Битва за вакцину // Код доступа. Канал «Звезда». 2020. 28 марта.
- Ортони Э.* Роль сходства в уподоблении и метафоре // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. 298 с.
- Солганик Г.Я.* О специфике газетно-публицистической метафоры // Журналистика и культура русской речи. 2002. № 2. С. 32–42.
- Соловьев В.Р.* Политика и пандемия // Программа «Вечер с Владимиром Соловьевым». Канал Россия. 2020. 31 марта.
- Чудинов А.П.* Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры. Екатеринбург, 2001. 238 с.
- Baker P.* Two Presidents, Two Messages, One Killer Virus: <https://www.nytimes.com/2020/12/08/us/politics/biden-trump-virus.html> (дата обращения: 06.10.2021).
- Biscop S.* Coronavirus and Power: The Impact on International Politics // Security Policy Brief. 2020. № 126. March.
- Campbell K.M., Doshi R.* The Coronavirus Could Reshape Global Order. Foreign Affairs, 18.03.2020: <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order> (дата обращения: 16.09.2021).
- Clausewitz C.V.* On War. Princeton: Princeton University Press, 1989. 732 p.
- Hardy C.* Researching Organizational Discourse // International Studies in Management and Organization. 2019. Vol. 31. № 3. P. 25–47.
- Hoffman R.R.* What Could Reaction-time Studies Be Telling Us about Metaphor Comprehension? // Metaphor and Symbolic Activity. New York: Appleton, 1987.
- O’Grady S.* China’s Coronavirus Lockdown – Brought to You by Authoritarianism // The Washington Post. 2020. January 27: <https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/27/china-coronavirus-lockdown-brought-you-by-authoritarianism/> (дата обращения: 18.09.2021).

Надежда Леонидовна Грейдина
доктор филологических наук
профессор научно-исследовательского центра
этнолингвистики и коммуникативистики,
Университет Маккуори (Сидней, Австралия)

Nadejda Greidina
Doctor of Philology
Professor, Ethnolinguistics and Communication
Studies Research Centre,
Macquarie University (Sydney, Australia)
greidina@yahoo.com

М.А. Живлов Юкагирская субстратная лексика в хантыйском?

Аннотация: Ряд хантыйских слов, не имеющих уральской этимологии (но иногда имеющих соответствия в мансийском), можно сопоставить с похожими словами в юкагирских языках. Можно показать, что хантыйские слова не могут быть унаследованы из прауральского: часть из них представляет собой инновационные замены известных прауральских лексем, а некоторые демонстрируют нерегулярные соответствия между хантыйскими языками / диалектами. Эти слова можно рассматривать как заимствования из вымершего (пара-)юкагирского языка.

Ключевые слова: языковые контакты, хантыйские языки, юкагирские языки, лексический субстрат

М.А. Zhivlov Yukaghir Lexical Substrate in Khanty?

Annotation: A number of Khanty words without Uralic etymology (but sometimes with Mansi cognates) have lookalikes in Yukaghir languages. An analysis of these Khanty words shows that they cannot be inherited from Proto-Uralic: some of them are lexical replacements of known Uralic etyma, while others demonstrate irregular correspondences between Khanty varieties. These words are best seen as borrowings from an extinct (Para-)Yukaghir language.

Key words: language contact, Khanty languages, Yukaghir languages, lexical substrate

Как указывает В.В. Напольских, в этногенезе хантов наряду с угорским существенную роль сыграл субстратный компонент, «для которого был характерен архаичный охотничье-рыболовческий уклад и сопутствующие ему черты духовной культуры; языковая принадлежность этого населения остается неясной, можно лишь предполагать, что язык(и) аборигенов средней и северной западносибирской тайги также принадлежал(и) к уральской семье и мог(ли) быть близок(-ки) угорским. ... Со значительным участием в генезисе хантов групп аборигенов средней и северной западносибирской тайги связано, вероятно, большее отклонение антропологического типа хантов – по сравнению с манси (...) – в сторону монголоидности. Основной монголоидный компонент в расовом типе хантов был, вероятно, близок североазиатской (байкальской) расе, представленной сегодня прежде всего в антропологии эвенков, эвенов и юкагиrow, точнее – к особому подтипу байкальской расы – катангскому, характерному для западных эвенков» [Напольских 1997: 76–77].

Ряд хантыйских слов, не имеющих уральской этимологии (но иногда имеющих параллели в мансийском), обнаруживает соответствия в юкагирских языках.

ПХ *č̣ɔ̄γ- ‘свистеть’ [DEWOS; 253–254] ~ ПЮ *č̣uŋk- ‘свистеть’ [HDY: 145].

ПХ *č̣ɔ̄wəŋ (восточнохантыйский), *č̣āwəŋ (западнохантыйский) ‘заяц’ [DEWOS: 264–265] ~ ПЮ *č̣olqəŋə ‘заяц’ [HDY: 138].

Нерегулярное соответствие гласных между восточно- и западнохантыйским указывает на сепаратное заимствование после распада прахантыйского.

ПХ *ḳiŋā- ~ *kan- ‘прилипнуть, приклеиться’ [DEWOS: 504–507] ~ ПЮ *kune- ‘липнуть; клей’ [HDY: 227].

Есть соответствие в мансийском: ПМ *kan- ‘прилипать; висеть’. В позиции после начального *k в хантыйском ожидался бы переход *n > *ŋ; его отсутствие указывает на заимствованный характер слова [Zhivlov 2016: 296–297]. Данное обско-угорско-юкагирское сравнение давно известно и традиционно рассматривается в рамках урало-юкагирской гипотезы (см. ссылки на литературу в HDY). Однако отсутствие параллелей в других уральских языках заставляет предпочесть контактную версию.

ПХ *liγ ‘хвост’ (DEWOS: 727) ~ ПЮ *laq- ‘хвост’ [HDY: 234–235].

Имеется соответствие в мансийском: ПМ *lēγ ~ *liγ ‘хвост’ (с нерегулярным вокализмом). Ввиду таких староюкагирских форм, как RS likil, BO leqél, KL lyqil, MK lýkhal (расшифровку сокращений староюкагирских источников см. в HDY) приведенная в HDY праюкагирская реконструкция *laq- должна быть изменена на *lyq-, что упрощает сравнение с обско-угорскими словами.

ПХ *l'uγt- ‘мыть’ [DEWOS: 870] ~ ПЮ *loγo- ‘мыть’ [HDY: 247].

Хантыйское слово явно связано с прамансийским *lawt- ‘мыть’, но соответствие хантыйского *l' мансийскому *l нерегулярно. Обско-угорско-юкагирское сравнение приводится в HDY как урало-юкагирская параллель, однако отсутствие убедительной уральской этимологии и нерегулярное соответствие анлаутных согласных между хантыйским и мансийским заставляет предпочесть контактную версию. Кроме того, для прауральского надежно реконструируется глагол *moćki- ‘мыть’, сохранившийся в прибалтийско-финском, мордовском, марийском, пермском и самодийском, и на этом фоне обско-угорские глаголы со значением ‘мыть’ должны считаться инновацией.

ПХ *maγəl ‘вольный, свободный’, *mγət-, *mγttə- ‘распрягать (лошадь, оленей); расстегнуть (пуговицы); снять с себя одежду, обувь’ [DEWOS: 907–908] ~ ПЮ *muγe- /*mγkə- ‘раздеться’ [HDY: 279].

Сравнение с хантыйским отмечено в HDY. В хантыйской форме *maγəl должен выделяться суффикс *-l, однако такой именной суффикс не является продуктивным в хантыйском. В то же время *-l – самый частотный именной суффикс в юкагирском.

ПХ *nāwī (ваховско-васюганский и обдорский), *nōwī (сургутский), *nowī (иртышский и севернохантыйский) ‘белый’ [DEWOS: 990–991] ~ ПЮ *ña:wə- ‘белый’ [HDY: 291–292].

Нерегулярное соответствие гласных первого слога между хантыйскими языками указывает на сепаратные заимствования после распада прахантыйского (см. выше слово ‘заяц’).

ПХ *paγət ‘навоз, помёт’ [DEWOS: 1135] ~ ПЮ *poγoŋč’ə /*poγqəŋč’ə ‘экскременты’ [HDY: 354].

Есть соответствие в мансийском: ПМ *rak^wt ‘экскременты’. Праюкагирская форма, видимо, представляет собой субстантивированное причастие с суффиксом *-nč’ə от несохранившегося глагола. Сравнение с юкагирским возможно, если *-t в обско-угорских словах отражает какой-то суффикс гипотетического юкагирского языка-источника, например праюкагирский именной суффикс *-δ, дающий -t в колымском юкагирском.

Отметим, что, хотя некоторые из приведенных выше хантыйских слов имеют соответствия в мансийском, нам не известно ни одной мансийско-юкагирской параллели без соответствия в хантыйском. Это заставляет предполагать, что рассмотренные слова попали в мансийский через посредство хантыйского.

Приведенные выше сравнения представляют собой лишь промежуточный результат работы по поиску хантыйско-юкагирских лексических параллелей; можно надеяться, что их число будет пополняться.

СОКРАЩЕНИЯ

ПМ – прамансийский
ПХ – прахантыйский
ПЮ – праюкагирский

ЛИТЕРАТУРА

- Напольских В.В.* Введение в историческую уралоистику. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 1997.
- DEWOS – *Steinitz W.* Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Vol. 1–15. Berlin: Akademie-Verlag, 1966.
- HDY = *Nikolaeva I.* A Historical Dictionary of Yukaghir. Trends in Linguistics Documentation 25. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2006.
- Zhivlov M.* The Origin of Khanty Retroflex Nasal // Journal of Language Relationship / Вопросы языкового родства. 2016. № 4(14). С. 293–302.

Михаил Александрович Живлов
кандидат филологических наук
старший научный сотрудник
Российский государственный гуманитарный университет /
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Mikhail Zhivlov
PhD
Senior Researcher
Russian State University for the Humanities RSUH / HSE University
zhivlov@yandex.ru

Н.Ю. Живлова
«Моё имя – красный»: к этимологии и значению
имени святого Руадана из Лотры

Аннотация: ПИЕ корень *h₁reudh- в др.-ирл. отражается как прилагательное в о-степени *h₁roudhós > общекельт. *roudo- > др.-ирл. rúad ‘крово-красный’, валл. rhudd, ср. галльск. Rudianus (эпитет Марса). Имя Rúadán соответствует огамическому MAQI RODAGNI. Имена на масс- ‘сын’ были теофорными, включая признак божества (цвет, свет): Mac Lachtnai (lachtna ‘сероватый’), Mac Taidlenn (taídle ‘сверкание’), или дендроним: огам. MAQI-CAIRATINI, др.-ирл. Mac Cáirthind (cáerthann ‘рябина’). Имена с rúad- были редки среди клириков. Известен святой VI в. Руадан из Лотры, «любивший проклинять». Называя святого «Руадан», агиографы намекали на его «боевой» характер, возможно, проводя параллель с образом божества.

Ключевые слова: Древнеирландский язык, святой Руадан, цветообозначение, красный цвет, ономастика

N.Yu. Zhivlova
«My Name is Red»: Etymology and Meaning
of the Name of st Rúadán of Lothra

Annotation: PIE root *h₁reudh- yields OIr o-grade adjective *h₁roudhós > Common Celtic *roudo- > OIr rúad ‘blood-red’, Welsh rhudd, cf. Gaulish Rudianus (Mars). OIr name Rúadán corresponds to Ogam MAQI RODAGNI. Personal names including macc- ‘son’ were theophoric and included an attribute of a deity (colour or shining): Mac Lachtnai (lachtna ‘milky grey’), Mac Taidlenn (taídle ‘shining’), or a dendronym: Ogam MAQI-CAIRATINI, OIr Mac Cáirthind (cáerthann ‘rowan’). Personal names including rúad- were rare among clerics. A well-known saint is St Rúadán of Lothra (6th century) who “loved cursing”. Naming the saint “Rúadán” the hagiographers alluded to his warlike personality, probably making an unconscious parallel with the image of a deity.

Key words: Old Irish, saint Rúadán, color term, red color, onomastics

Одним из индоевропейских обозначений для красного цвета является основа *h₁reudh-, которая в древнеирландском языке отражается как прилагательное в о-степени *h₁roudhós < rúad, валл. rhudd, брет. ruz (общекельт. *roudo-), соответствуя латинскому rufus, литовскому raudas ‘рыжий’, raudónas ‘красный’ гот. rauþs, тох. A rtär, тох. B rätre, русскому *рудый*, диал. *рудой*. Эта основа часто употреблялась в личных именах в разных индоевропейских языках¹: так, она зафиксирована в галльском в Roudios и Anderoudus ‘очень красный’, в эпитете Марса Rudianus², а также в теониме Rudiobo, известном в надписи на бронзовой лошади из Неви-ан-Суйя³.

Термин *rúad* в древнеирландском обозначает ‘крово-красный цвет’, ‘засохшие пятна крови’, в отличие от *derg* ‘красный’ (базовое обозначение красного цвета) и *flann* ‘кро-

¹ Подборка личных имен, производных от данной основы, в: Юркенас Ю. Вопросы антропонимической типологии // Kalbotyra (Языкознание). 1978. Т. 29(2). С. 7–18: <https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/21851> (date accessed: 31.08.2021).

² Loth J. Le dieu gaulois Rudiobos, Rudianos // Revue archéologique. 1925. Vol. 22. P. 210–227.

³ Эта форма рассматривается как Dat. Sg. (Ж. Лотом и Д. Штифтером), но вполне возможно, что фактически речь идет о Dat.Pl. от Rudios (точка зрения, отвергнутая К. Деламарром): Delamarre X. Dictionnaire de la langue gauloise: Un approche linguistique du vieux-celtique continental. Paris: 2003. P. 263.

ваво-красный; свежая кровь'¹. Предположительно эта основа отражается в огамических надписях, как RODDOS (фактически [rōðos])².

Известно, что в ряде кельтских языков понятие 'красный' имеет усилительное значение и переводится как 'мощный'. В древнеирландском *rúad* глоссируется как *trén*, *laidir* 'сильный, могучий'³. При этом в текстах нередко обыгрывается и буквальное, и переносное значение *rúad*. Так, например, Энгус, автор «Мартиролога» начала IX в., говорит о «короле мира, Навуходоносоре *красном* (= могучем), воинственном» (*rí in domuin Nabcodon rúad roglach*) и сравнивает его с Павлом-отшельником, проповедовавшим «из своего *черного* (= мрачного) скита» (*Sen Phól manach asa díthrub dubach*)⁴. Точно так же он противопоставляет ирландского короля Доннхада «Доннхад гневный, *красный*» (*Donnchad dric rúad*) и святого Маэл Руана – «Маэл Руайн... великое солнце» (*Mael Rúain... grían mág*).

«Христианским» цветом для ирландцев, конечно, был белый; если взять в качестве примера тот же текст «Мартиролога», то термином *find* 'белый' или *gel* 'белый, сверкающий' неоднократно описываются христианские понятия: *hí Fíadat find fíni* 'лоза белого Господа', *Findén find* 'белый (святой) Финниан', *féil find Fergnai Íae* 'белый праздник Фергны с (острова) Иона', *in grían gel... Mathae* 'сверкающее солнце, (апостол) Матфей'.

Как и другие цветообозначения, *rúad* нередко употребляется в именах и прозвищах. Но могло ли понятие 'красный' быть приложимо к именам и прозвищам клириков? Для древней Ирландии точно неизвестно, менялись ли имена с принятием сана: данных об этом нет. Поскольку должности аббатов, епископов и пресвитеров, как правило, были наследственными, то дети, скорее всего, получали подходящие имена, не содержавшие элементов, неуместных для служителя Церкви (например, в мартирологах и генеалогиях святых полностью отсутствуют имена с элементом *sú* 'собака')⁵.

В связи с этим можно вспомнить имя известного ирландского святого, непосредственно связанное с понятием *rúad*, – святого Руадана из Лотры.

Имя «Руадан» непосредственно зафиксировано в огамических надписях в форме RODAGNI⁶; оно является уменьшительным от *rúad*. В житиях также упоминается сестра святого по имени Руаднат (*Rúadnat* – также уменьшительное от *rúad*, но женского рода).

В древнеирландском ономастике имена с элементом *rúad*- были достаточно распространенными. Общий свод древнеирландских генеалогий (CGH, включающий генеалогии из Rawlinson B. 502 и из «Лейнстерской книги») содержит такие имена (в скобках указано число носителей)⁷:

- *Rúaidin(e)* (3)⁸
- *Rúadacán* (1)⁹
- *Rúadán* (2)¹⁰
- *Rúadchind* 'красная голова' (1)

¹ *Lucht M.* Der Grundwortschatz des Altirischen. Bonn: Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, 2007. S. 315–317.

² *McManus D.* A Guide to Ogam. Maynooth: An Sagart, 1997. P. 120, 126.

³ DIL s.v. *rúad*.

⁴ *Dubach* является производным от *dub* 'черный', но основное его значение – «мрачный, унылый».

⁵ *Живлова Н.Ю.* Древнеирландские имена с элементом *sú*- «собака» // Имя как квант лингвистического и историко-культурного анализа: Материалы Круглого стола, посвященного разным аспектам анализа ономастического материала (по данным эпиграфики и летописной традиции). М.: МАКС Пресс, 2015. С. 21–30.

⁶ *McManus D.* A Guide to Ogam. Maynooth: An Sagart, 1997. P. 120, 126.

⁷ О значении имен на *rúad* см. также: *Uhlich J.* Die Morphologie der komponierten Personennamen des Altirischen. Bonn: Wehle, 1993. S. 294–296.

⁸ Уменьшительное от *rúad*.

⁹ Уменьшительное от *rúad*.

¹⁰ Уменьшительное от *rúad* зафиксировано также в значении 'крупя' (гречневая?): DIL. s.v. *rúadán*.

- Rúadgal ‘красная ярость’ (9)
- Rúadgus ‘красная сила’ (7)
- Rúaidrí ‘красный король’ (30)
- Ruidnéll / Rudmail (7)¹.

Вместе с тем при анализе данных мартирологий, генеалогий и анналов видно, что в именах клириков практически не встречается элемент *rúad-*.

В мартирологиях зафиксирован только святой Руадан из Лотры (15 апреля)². В генеалогиях святых (CGSH) также фигурирует только имя *Rúadán*: помимо святого Руадана из Лотры (Руадан, сын Фергуса Берна), упоминается также Руадан – сын Лугайда или Лугны³ и три неидентифицированных Руадана – дьякон, епископ и пресвитер, которые могут быть идентичны с одним из двух известных святых Руаданов⁴.

Данные анналов (на основании свода ирландских хроник до 911 г.)⁵ могут прибавить к этому Руадана – епископа Луска (ум. 909) и Руадри – вице-аббата Клонарда (ум. 838). Все остальные носители имен «Руадри» и «Руадакан» являются мирянами. Генеалогии и анналы фиксируют еще два любопытных имени, принадлежащих клирикам – *Ruthnéll* ‘красное облако?’ (см. также выше) и *Ruidgel* ‘красно-светлый?’: епископ Имлех Ибайр Рудгел (ум. 881) и епископ Клонферта Рутнел (ум. 826). Судя по всему, данные хроник говорят о том, что имена с элементом *rúad-* не встречались среди клириков вплоть до IX в., когда древнеирландская система имянаращения в целом переживает кризис.

На наш взгляд, разумным является предположение Д. Блэра Гибсона об изначально теофорном характере имен с элементом *rúad* (и существовании некоего божества по имени Руад). Затрагивая имена святых, Гибсон делает аналогичное предположение по поводу святого Кронана, указывая на то, что *srón* ‘бурый’, ‘темно-желтый’, ‘очень темный красный’ является, по сути, синонимом *rúad*⁶.

Отметим, что имя «Руадан» встречается в огамических надписях как MAQIRODAGNI. Элемент *Mac(c)-* ‘сын’ в древнеирландских именах не всегда является «отчеством»: зачастую это часть имени, например *Mac Cáirthind*, буквально ‘сын рябины’ (*cáerthann* ‘рябина’)⁷, огамическое MAQI-CAIRATINI. Имеются имена на *Mac(c)-* с обозначением цвета в качестве второго элемента: *Mac Uidir*, *Mac Odor* (*odur* ‘темный, серовато-бурый’), *Mac Lachtnai* (*lachtna* ‘молочного цвета, сероватый’), *Mac Teimin* (*te(i)men* ‘темный’). Ряд имен содержит понятие о сиянии или огне: это прежде всего *Mac Laisre* (*lasar* ‘огонь’), *Mac Oíblén* (*oíblén* ‘искорка’), *Mac Srobtáin* (от *sraib* ‘сера’, буквально ‘серный огонь’), *Mac Taidlenn* (от *taídle* ‘сверкание’). Как и уже упомянутое *Mac Cáirthind*, ряд таких имен содержит названия растений: *Mac Draignén* (*draigen* ‘терн’), *Mac Cuill* (*coll* ‘орешник’, возможно, идентично огамическому MAQI-QOLI), *Mac Daro* (*Daur* ‘дуб’), *Mac Cuilinn* (*cuilenn* ‘падуб’, огамическое MAQVI-COLINE), *Mac Í* (*eó* ‘ствол; (священное) дерево, часто о тисе’). Разумно предположить, что многие имена на *mass-* первоначально являлись теофорными и содержали в себе признак божественной сущности (‘темный’, ‘се-

¹ Эти два имени объединены в CGH в одно, хотя *Ruidnéll* должно значить ‘красное облако’, а *Rudmail* – ‘красный властитель’.

² Дата смерти Руадана указана как 585 г., но эта дата фигурирует только в «Анналах Тигернаха», и неясно, входила ли она в первоначальный текст «Хроник Ирландии».

³ CGSH 722.77; CGH 127 а 5.

⁴ CGSH 706.60, 704.152, 722.44. Все эти имена содержатся в списках священнослужителей соответствующего ранга.

⁵ *Charles-Edwards T.M.* The Chronicle of Ireland. Liverpool: Liverpool Univ. Press, 2006.

⁶ *Gibson D.B.* From Chieftdom to State in Early Ireland. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 36–41; святого Руадана в связи с этим он не упоминает.

⁷ 9 вхождений в CGH, 6 в CGSH.

рый’, ‘сверкание’) или название дерева, связанного с божеством (‘тис’, ‘рябина’). Возможно, и здесь речь идет не об имени «Руадан», а об имени «Мак Руадан».

Можно предположить, что мотивация имяназвания в случае святого Руадана тесно связана с семантическим полем слова *gúad*. Святой Руадан был известен своей агрессивностью: он «любил проклинать»¹. Наиболее известный эпизод его жития – это спор святого Руадана с королем Тары Диармайдом, которого Руадан проклял за убийство человека, который находился под его, Руадана, покровительством (по сути, казнь, которую король был обязан совершить, поскольку протееже Руадана убил королевского управляющего). Этот эпизод стал своего рода «визитной карточкой» Руадана и имел хождение как отдельная сага.

Интересно в этом плане бретонское выражение *mallozh ruz*, что можно перевести как «ужасное (= красное) проклятие»². Закрепляя за святым имя (или прозвище) «Руадан», древнеирландские авторы житийных текстов описывали тем самым ярость и «воинственность» клирика, возможно проводя бессознательную параллель с дохристианским образом «красного» божества, отождествлявшегося у галлов с Марсом.

СОКРАЩЕНИЯ

CGH – Corpus Genealogiarum Hiberniae / Ed.: M.A. Ó Brien. Dublin: School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies, 1962 (repr. with introd.: 1968, 2001).

CGSH – Corpus Genealogiarum Sanctorum Hiberniae / Ed.: P. Ó Riain. Dublin: School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies, 1985.

DIL – eDIL (Electronic Dictionary of the Irish Language): <http://dil.ie/> (date accessed: 31.08.2021).

Нина Юрьевна Живлова
кандидат исторических наук
старший преподаватель
кафедра древних языков
исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова

Nina Zhivlova
PhD (History)
Senior Lecturer
Department of Ancient Languages
Faculty of History
Lomonosov Moscow State University
nanako@yandex.ru

¹ *Kudenko K.* In Defence of the Irish Saints who ‘Loved Malediction’ // Charms, charmers and charming in Ireland from the medieval to the modern / Ed. I. Tuomi, J. Carey, B. Hillers and C. Ó Gealbháin. Cardiff: University of Wales Press, 2019. P. 65–77.

² *Muradova A.R.* The Red devil and the Symbolic Meaning of the Colour ‘Red’ in Modern Breton // *Studia Celtica Fennica*. 2008. Vol. 5. P. 64–68; например, *Mallozh-ruz* war an neb a zilez ar mestr evit gloazañ al loen ‘Проклятье тому, кто избегает хозяина, чтобы ранить скакуна’ (*Gibson J. and Griffiths G.* The Turn of the Ermine: An Anthology of Breton Literature. Francis Boutle, 2006. P. 204).

Б.А. Захарьин
Андроцентризм традиционной индийской культуры и его проявления
в системах счета новоиндийских языков

Аннотация: В статье рассматриваются структура, семантика и происхождение оканчивающихся на «9» двузначных числительных новоиндийских языков (НИЯ). Внутреннее устройство числительных от «19» и до «79» в НИЯ единообразно: любое оканчивающееся на «9» нечетное число обозначается как уменьшенное на единицу ближайшее четное круглое число. Универсальностью характеризуется и числительное «99», повсеместно следующее аддитивному принципу сочетаемости компонентов. Языково-специфично лишь числительное «89», устроенное по-разному в центральных и периферийных НИЯ. В статье анализируются проблемы этимологии и исторического функционирования элемента (ny)-ūna «уменьшенный на единицу». Лингвистическое исследование дополнено культурологическим, демонстрирующим, что основой метафоры индоарийских числительных являлась гендерная асимметрия, обусловленная андроцентричностью всей традиционной индийской культуры.

Ключевые слова: андроцентризм, число, счетный ряд, принцип «уменьшения», аддитивность, мультипликативность

B.A. Zakharjin
Androcentricity of the Traditional Indian Culture as Represented in the
Calculation Systems of the New Indo-Aryan Languages

Annotation: The paper deals with problems of structure, semantics and origin of the ending in '9' two-digital numerals in the New Indo-Aryan languages (NIA). The inner form of the corresponding numerals from '19' and up to '79' is universal as any odd number with '9' at the end is signified as the nearest even number lesser in one. The other type of universality is seen in '99' which everywhere demonstrates the additive principle of co-occurrence of its components. The language-specific is only the numeral '89' structurally different in NIA languages of the Centre and those of the Periphery. Problems of etymology and of the historical evolution of the formative (ny)-ūna 'less in one' are analyzed in the paper. The linguistic investigation is amplified with the culture-bound one which demonstrates that the gender asymmetry stipulated by the androcentricity of the traditional Indian culture served as the metaphoric basis for Indo-Aryan numerals in '9'.

Key words: androcentricity, number, calculation set, 'lessening' principle, additivity, multiplicativity

В любом из новоиндийских языков в первой сотне счетного ряда имеется особая группа названий для неизменно оканчивающихся на 9 двузначных единиц, конкретно представленных числами 19, 29, 39, 49, 59, 69 и 79 (а также – не всегда – и 89). Морфологически каждое из соответствующих названий предполагает сочетание некоторого аффикса со значением «уменьшенное на единицу» с наименованием следующего по порядку круглого четного числа. Например, в хинди в оканчивающихся на 9 названиях чисел от 19 до 79 начальным морфом выступает неизменяемый префикс *un*, за которым следует алломорф числительного, называющего следующий «круглый» десяток: *un-* + *-cās* (< *pacās* 50) «(на единицу) меньший, чем 50», т. е. «49»; *un-* + *-hattar* (< *sattar* 70) «(на единицу) меньший, чем 70», т. е. «69» и т. п. [Липеровский 1978: 102–104; Montaut 2004: 80–81]. Бóльшую прозрачность структуры первого компонента демонстрируют гуджарати и маратхи. Так, в

гуджарати алломорф *oga-* (< др.-инд. **eka*) «один» сочетается с постфиксом *-ṇ* «без одного»: *oga-ṇ-* + *-tīs* (< *trīs* 30) «без одного 30», т. е. «29» [Савельева 1965: 29–31]. Аналогичной является структура первого компонента и в соответствующих числительных, например, маратхи: *(y)ek-* «1» + *-uṇ-* «без одного» + *-īs* (< *vīs*) «20» = *ekuṇīs* «19».

И в западных, и в восточных новоиндийских языках пограничным в плане морфологического устройства является числительное 99, означающее которого строится на базе аддитивного принципа объединения компонентов. Так, для 99 в хинди используется не ожидаемое **unsau* «без одного сто», но только *ninānve* – из *nin-* 9 (< *nau*) + *-ānve* (< *navve* 90); аналогично в маратхи: *navuannau* – из *navv-* 9 + *-yannav* (< *navvad* 90); также и в панджаби: *nar^{hi}-* (< *naū*) 9 + *-navvē* (< *nabbē* 90) и т. д. Но если в хинди *navāsī* 89 предполагает аддитивность компонентов: *nav-* 9 (< *nau*) + *-āsī/assī* 80, то в большинстве западных новоиндийских языков (в частности, в кашмири, панджаби и маратхи) в названиях для 89 используется принцип «на единицу меньше, чем ближайшее (следующее) круглое число»: кашм. *kunnamath* – из *k-* (< *akh* 1) + *-un-* «без одного» + *namath* 90; пандж. *upanve* – из *un-* «без одного» + *-anve* (< *nabbe*) 90; мар. *ekoṇanavvad* – из *eka-* 1 + *-uṇa-* «без одного» + *-navvad* 90. Однако гуджарати, принадлежащий к западным новоиндийским языкам, при обозначении 89 опирается, как и хинди, на принцип аддитивности: *nevāsī* – из *nev-* (< *nav*) 9 + *-āsī* (< *ēsī*) 90. Заметим также, что новоиндийские языки различаются также по линии наличия или отсутствия эксплицитно обозначенного морфа «один» в форманте, предшествующей названию целого числа: в маратхи, гуджарати и кашмири перед аффиксом «уменьшенности» обязательно присутствует тот или иной алломорф числительного «один» (в кашмири он представлен лишь начальным согласным *k-*), тогда как в хинди и панджаби начальную позицию в словоформе занимает собственно аффикс «уменьшенности» *un-*, а морфема «один» представлена нулевым алломорфом. Историческое обоснование этому будет предложено ниже.

Представленный формами *un-/a)n-/ṇ-* аффикс новоиндийских языков со значениями «уменьшенный», «без одного» в аспекте диахронии обычно возводится к древнеиндийскому (или даже к индоиранскому) причастию *īna*. При этом в древнеиндийском имелся и приставочный вариант *ny-īna* (< *ni-īna*), имевший то же значение, что и *īna*, т. е. «лишенный / уменьшенный». Именно наличие явно указывавшего на «отглагольность» приставочного *ny-īna* позволило лингвистам XIX в. сформулировать гипотезу о причастном происхождении *ī-na/ny-ī-na*. Например, Моньер-Вильямс, автор «Санскритско-английского словаря», ссылаясь на Панини, квалифицировал *ī-na* как «перфективное причастие» от корня *av-* «благоволить, охранять, помогать» [Monier-Williams 1899: 221]. У Панини в сутре 6.4.20 его санскритской грамматики ‘*Aṣṭādhyāyī*’, действительно, были упомянуты *av-* и его дериваты, но при этом автор не занимался ни их семантикой, ни их употреблением в текстах, так как его внимание было целиком сосредоточено на нестандартных морфонологических чередованиях, характерных для корня и производных. В частности, он отметил возможность чередования *av-/ū-*, иллюстрируя которое позднейшие комментаторы приводили примеры типа *ū-* «охранитель», *ū-tī* «охрана, защита» и др. От корневого алломорфа *ū-*, согласно 6.4.20 Панини, в санскрите образовывалось и перфективное причастие *ū-ta* «защищенный». Ту же форму *ū-tā* имело и ведийское причастие от корня *av-*, что отметил Макдонелл, по существу отвергший реконструкцию Моньер-Вильямса [Macdonell 1995: 370]. Что касается прилагательного («причастия»?) *īna*, то его Панини даже не упоминает в своей грамматике [Pāṇini 1989: 806–7]. Таким образом, время появления и деривационная история формы *īna* в языке остаются неизвестными.

В плане семантики порождение от *av-* «охранять» атрибутива *īna* или его приставочного аналога *nyūna* (< *ni-īna*) со значением «уменьшенный» маловероятно, поэтому гипотеза, предполагающая для *īna* деривационную связанность с *av-*, по нашему мнению, несостоятельна. Более мотивированным представлялось бы порождение *īna/nyūna* от ведийского *īh-* «устранять, отодвигать, задерживать» или от семантически близкого *vah-* в значении «уносить, передвигать». Порождаемое от обоих этих древнеиндийских корней перфективное причастие со значением «устраненный, лишенный» засвидетельствовано в текстах и у грамматистов как *ūd^há*. Вторичная ретрофлексность согласной причастия сохранилась в среднеиндийских языках (в аффиксе *-ina-* [Beames 1966: 136]), а также в таких новоиндийских языках Западной Индии, как гуджарати (в виде *-ṇ-*) и маратхи (в виде *-ṇ-*), но языки Центра (хинди и панджаби) с их префиксом *in-* ретрофлексность утратили. Показательно, что наиболее ранние случаи употребления *īna/nyūna* со значением «уменьшенный, лишенный» отмечены лишь в Атхарваведе как самой поздней из вед (см., например, *Atharvaveda*, разделы 10.8.15, 12.1.61 и др.), а также в тоже поздней т. н. «Черной Яджурведе» (*Taittirīya-saṃhitā*). В текстах постведийских комментариев (типа ‘*Śaṭapatha-brāhmāṇa*’ или ‘*Aitareya-brāhmāṇa*’), созданных на языке, переходном от ведийского к санскриту, частотность использования этих форм с *īna/nyūna* существенно возросла, особенно в операциях счета. См., например, конструкцию *dvā-bhyām īna-m* «уменьшенный / меньший на два», в которой *īna*, управляя числительным «2», требует от него формы Abl.Du [*Śaṭapatha-brāhmāṇa* 1998: XI–1.2.9]; показательна также конструкция (из *Aitareya Brahmana* III–46.8) *tri-bhir akṣar-air nyūna-ṇ* «уменьшенное на три слога», где *nyūna* требует форм Instr.Pl от обеих составляющих числового комплекса. Примечательным представляется здесь и необычное для прилагательного постпозитивное употребление *īna/nyūna*, так как нормативной для древнеиндийского была препозиция определения по отношению к определяемому.

В текстах классического санскрита *īna*, означавший «дефектный, уменьшенный (на)», использовался достаточно часто, а *nyūna* был значительно более редким. Занимавший позицию следования *īna* сочетался либо с основой (в составе компаундов), либо с падежной формой (обычно аблатива или инструментала) предшествующего имени. Ср., например: (А) *try-īna-navatī-ḥ* (< *tri-*«3» + *-īna-* «меньший» + *-navatī-ḥ* «90») букв. «трех лишенная 90», т. е. «87»; (Б) *pañc-ona-ṇ* (< *pañca* «5» + *īna-*) + *śahāsra-m* «1000»), букв. «пяти лишенная 1000», т. е. «995». Как очевидно, при операциях основосложения морфологическая последовательность «числительное + *īna*» могла либо функционировать в качестве компонента новой основы (как в (А)), либо выступать финальным элементом новообразованной словоформы, согласующейся со следующим числительным (как в (Б)). В компаундах позиция перед *īna* могла быть занята любым именем: числительным: *ekona* (< *ekā* «один» + *-īna*) «уменьшенный на один»; местоимением: *tad-īna* «меньший, чем то(т)»; прилагательным: *alpōna* (< *alpa-* «малый, меньший» + *-īna*) «несколько меньший»; существительным: *lakṣād* (< *lakṣá-ād* «100 000-Abl.Sg») + *īna* «на 100 000 уменьшенный», «меньший, чем «лакх». При этом именно субстантивы в сочетаниях с *īna* дольше других имен придерживались норм постведийской падежной модели управления. Показательно, в частности, что название ‘*lakṣa*’ для «100 000» (сохранившееся как *tadbhava* ‘*lakh*’ во всех новоиндийских языках) в древнеиндийском трактовалось именно как субстантив (а не числительное) и выступало перед *īna* в форме отложительного падежа *единственного*, но не множественного числа (тогда как последнее было регулярным для любых числительных, обозначающих большую, чем 2, величину). В конструкции вида ‘*dvā-* «2»

+ *īna*’ сама семантика числительного «2» имплицировала форму отложительного падежа *двойственного числа* – ср., например, *dvā-bhyām* (Abl.Du) *īna* «на 2 меньший».

С эволюцией санскрита падежные конструкции с *īna* становились все более редкими, и на смену им приходили построения со сложными основами. Среди последних в сфере единиц счета весьма распространенными, похоже, были сложения типа *ekona-* (< *eka-* «1» + *īna-*) «меньший на один», со временем подвергавшиеся редукции, в процессе которой основы могли утрачивать первый, ставший факультативным, морф. Так, структура «на один меньше 30» (для 29) первоначально манифестировалась в древнеиндийском двумя семантически эквивалентными компаундами-вариантами: *ekona-trimśati-ḥ*, и *īna-trimśati-ḥ*. В дальнейшем из-за действия тенденции к экономии средств выражения предпочтению было оказано формально менее сложному, т. е. второму, образованию. В результате исторически самостоятельный атрибутив *īna* стал аффиксом: в языках «центра» (хинди и панджаби) он трансформировался в префикс *in-* со значением «без единицы», а в «периферийных» кашмири, гуджарати и маратхи он, сохранив архаичное значение «лишенный / уменьшенный», стал постфиксом, непосредственно следовавшим за числительным «один». Постепенно под действием закона аналогии соответствующие преобразования распространились в новоиндийском почти на все двузначные и оканчивающиеся на 9 числительные первой сотни, связанные отношением «*нечет – чет*» с обозначениями круглых десятков. Примечательными исключениями оказались названия для 89 и 99. Термин для 99 во всех без исключения новых индоарийских языках построен на принципе *аддитивности*, т. е. как «9 + 90»; ср., например, панджаби *naR^{hi}(n)-* «9» + *n(a)vē* «90». Однако структуры для 89, как было отмечено выше, различны в разных «секторах» новоиндийского: «периферийные» языки придерживаются модели «без одного 90», тогда как «центральные» предпочитают аддитивный способ построения, т. е. «9 + 80».

Напомним, что морфы *pau-*, *nav-*, *nin-*, *naR^{hi}-* и др., используемые в новоиндийском для обозначения «9», восходят к и.-е. **e-neuen/*neun*, в свою очередь этимологически соотносимому с и.-е. **neuo-s* «новый», см. [Pokorny 1959: 318, 769; Эдельман 2014: 72; Красухин 2014:195]. Изучение данных, относящихся к числительным иранских языков, ближайших «родственников» индоарийских, позволило Эдельман высказать предположение об *особом статусе* числа «9», которое может рассматриваться как рубежное между двумя соседними числами, маркировавшими последовательно сменявшиеся системы счета: «9», таким образом, граничило с числом «8», представлявшимся «круглым» при четверично-восьмеричной системе, и с числом «10», также «круглым» в новом десятичном исчислении. Гипотезу Эдельман, вероятно, можно распространить и на индоарийские языки: на числа «8», «9» и «10» в них и на кратные им «80», «90» и «100».

В связи с предположением об остаточных проявлениях в индоарийском счета «восьмерками» (основу которого у древних индоевропейцев составляло участие двух «малых рук», т. е. рук без учета больших пальцев, см. [Красухин 2014: 194]) следует напомнить о существовании двух традиционных классификаций гимнов Ригvedы: более архаичном делении всего текста на восемь частей (!) ‘*Aṣṭaka*’ (ср. *aṣṭá* «8») и его позднейшем членении на десять (!) «кругов», или циклов, ‘*Maṇḍala*’. При принятом почти всеми исследователями делении мандал Ригvedы на «нефамильные» (I, VIII и IX) и «фамильные» (все остальные, созданные родами певцов-брахманов) показательна особая отмеченность среди «нефамильных» именно мандал VIII и IX, для которых их относительная хронология не установлена и принципы аранжировки гимнов в которых не являются очевидными [Елизаренкова 1972: 24, 27–28]. Не исключено, что отмеченная неопределенность статуса мандал VIII и IX может быть следствием тех же сложностей при историческом переходе

от четверично-восьмерично-вигезимального счета к десятичному. В этой связи заслуживает внимания тот факт, что структурная и функциональная маркированность древнеиндийских обозначений для «8» и «9» обнаруживает некоторые параллели и в славянском, конкретно – в русском языке, где отсутствуют исконные названия для «8» и «9» и где, соотвествуя народной этимологии, «(в)осемь» трактуется как «рядом с семью» [Красухин 2014: 195], а название «девять» являет собой простую кальку с названия «десять».

Что касается наименований для чисел первой сотни, кратных 8, 9 и 10, то, как представляется, цепочка от 80 до 89 начинала собой переход от архаичных систем счета к утверждавшейся десятичной, а числовой ряд от 90 до 100 окончательно закреплял новую, десятичную модель, на принципах которой потом строились и остальные числительные более высоких порядков. Существованием указанной «зоны перехода» может объясняться и описанное размежевание новоиндийских языков в связи с обозначением нечетных чисел «89» и «99» (об использовании оппозиции «чет – нечет» см. ниже).

Древнеиндийские числительные в целом воспроизводили десятичную модель [Emmerick 1992: 194], но при этом вся система счета характеризовалась «размытостью» отношений между составляющими знаками и повышенным уровнем вариативности означающих. Заметно «нагруженным» в аспекте варьирования было все то же числительное «8», что может рассматриваться как дополнительное свидетельство его особого статуса в архаичной, додецимальной системе счета. Так, в названии для числа «8» предполагалась разная просодика в двух вариантах древнеиндийского: в ведийском акцентуационно выделялся последний слог: *aṣṭā-*, тогда как в санскрите, согласно грамматистам, выделенным был первый: *áṣṭa*. Варьирование для «8» захватывало и морфологию: в Ригведе форма им.-вин. падежа для «8» могла быть и *aṣṭ-āú* (с окончанием дв.(!) числа), и *aṣṭ-á*, но в прозаических текстах Брахман в качестве регулярной формы им.-вин. падежа встречается уже только *aṣṭ-á*; эта же форма употреблялась там и в роли основы при склонении (перед окончаниями всех косвенных падежей множественного числа), и при словообразовании (в названиях для оканчивающихся на 8 двузначных числах «18», «28» и «38»); см. [Whitney 1969: 177–178, 182].

Повышенная степень вариативности основ в древнеиндийском была характерна и для числительных «2» и «3». В частности, соединение вариантов обозначений указанных чисел с названиями круглых двузначных подчинялось следующему ограничению: в одних контекстах допускался единственный фиксированный вариант, тогда как в других имело место их свободное варьирование. Например, в *tráyo-daśa* «13», *tráyas-trimśat* «33» или *try-āśīti* «83» для начального «3» допускался только один (но всякий раз разный!) фиксированный алломорф, в случае же «63» были равновероятны два варианта: *tráyaḥ-ṣaṣṭi* или *trí-ṣaṣṭi* [Whitney 1969: 178]. В Ригведе и в ряде постведийских текстов (например, в *Śāṃkhāyana-Śrāuṭa-Sūtra*) отмечается использование «усеченного» *порядкового* (а не *количественного*) числительного в функции показателя мультипликации; при этом имена для обоих чисел оформлялись показателями вин. падежа мн. числа: *trīm-r ekādaś-ān* «33» (букв. «трижды одиннадцать», т. е. «3 x 11»). На более поздней стадии эволюции в языке Брахман и в позднейших санскритских текстах употребление «усеченной» (а не полной) формы основы при построении порядковых числительных от количественных (начиная с «20») было вполне распространенным явлением, например: *catvāriṃś-á* (вместо нормативного *catvāriṃśa-tamá*) «сороковой».

Древнеиндийские числительные от 1 до 4 изменялись по категориям рода, числа и падежа, согласуясь в наборе граммем с определяемыми именами и, до некоторой степени, управляя ими по категории числа. Так изменявшееся по местоименному типу склонения

числительное *eka* «1» требовало обычно формы ед. числа от соотносимого имени, но могло, согласуясь с существительным или именной группой (ИГ), оформленными показателями муж. рода мн. числа им. падежа, выступать и в форме мн. числа, меняя при этом собственную семантику: *ek-e* (м. р. им. п., мн. ч.) *vīr-āḥ* (м. р. им. п., мн. ч.) «некоторые герои». Формы дв. числа для *eka* были невозможны. Но *dva* «2» и само выступало только в формах дв. числа и требовало их от сочетавшихся с *dva* субстантивов: *dv-āū putr-āū* «двое сыновей» (м. р. им. п. дв. ч.), но *dv-é kany-é* (ж. р. им. п. дв. ч.) «две девушки». Любые другие числительные, большие, чем «2», имели лишь формы множественного числа и предполагали их и в субстантивах или ИГ. Для всех числительных, начиная с «5», категория рода не была значимой, но числительные 3 и 4 изменялись по родам и падежам, склоняясь во мн. числе как существительные с аналогичными исходами и предполагая индивидуальные отклонения в основах. Например, различавшиеся по роду формы им. падежа для «3» и «4» выглядели как *tráy-aḥ* (м.р.) – *trī-ṇi* (ср.р.) – *tisr-āḥ* (ж.р.); *catvār-aḥ* (м. р.) – *catvār-i* (ср.р.) – *cátasr-aḥ* (ж. р.). Отметим, что ко времени нового индоарийского вся эта сложная морфологическая система перестала существовать, и новоиндийские числительные уже не характеризовались никакими морфологическими категориями.

В Ведах и в Брахманах при построении комплексных чисел одно и то же соположение счетных единиц могло подразумевать и *аддитивный*, и *мультипликативный* характер связи между компонентами. В ведийском в качестве дополнительного средства различения использовалась и акцентная выделенность слога: при сохранении тонового ударения на слоге более приближенного к началу члена соположения подразумевалось отношение *аддитивности*, передвижение же ударения на последний, ауслатный слог предполагало *мультипликативность*. Ср., с одной стороны, *aṣṭá-śata-m* «108» (букв. «8 (и) 100»), с другой – *aṣṭá-śatá-m* «800» (букв. «8 x 100»). Наличествующий в подобных примерах ауслатный аффикс *-m* (имевший значение «им.-вин. падеж ед. ч. ср. р.»), по мнению ряда индологов, являлся дополнительным морфологическим средством размежевания функций при объединении единиц и десятков с сотнями и тысячами; см., например, [Кочергина 1994: 177]. Однако далеко не всегда *-m* был средством реализации указанной функции, что хорошо видно из пары неакцентуированных примеров, взятых из текста на классическом санскрите. В первом из них компоненты связаны отношением *аддитивности*: *aśīti-sahasra-m* «1080» (букв. «80 (и) 1000»), во втором – отношением *мультипликативности*: *tri-sahasra-m* «3 000» (т. е. «трижды тысяча», но не *3 (и) 1000).

В ходе начавшегося в эпоху Брахман постепенного разрушения системы тонов носители языка с целью экспликации функциональных связей составляющих в комплексных обозначениях чисел все чаще обращались к морфосинтаксическому согласовательному механизму и к использованию выражений с *ūna* «уменьшенный». См. почерпнутый из постведийских комментаторских текстов пример на сложную конструкцию, предназначенную для обозначения числа «2095»: ‘*sahasr-e dv-e pañcna-m śata-m eva ca*’, букв. «1000-дв. ч. + 2-дв. ч. + (на) 5 уменьшенное-ед. ч. + 100-ед. ч. + «еще» + «и», т. е. «две тысячи и еще уменьшенное на пять сто». Но попытки решать проблему отношений между счетными единицами при опоре на согласовательные связи и соответствующие морфологические маркеры также могли давать сбои. В этом плане показателен пример, обнаруженный Уитни в одной из Брахман: ‘*dv-é catus-trimś-é śat-é*’ «234», в котором имплицитованная семантикой числительного *dva*- «2» флексия *-é* (им.-вин. п. дв. ч. ср. рода), оформляющая все три ИГ в конструкции, должна указывать на то, что между синтаксически связанными (по линиям согласования и маркирования) первым (*dv-é*) и последним (*śat-é*) числительными реализовано отношение *мультипликативности*, но одновременно

между компаундом *catus-triṃśa-* «34-й» (который сформирован числительным *catur-* «4» и «усеченной» основой порядкового *triṃśa-tama* «30-й») и «обрамляющей» этот компаунд составляющей *dv-é ... śat-é* «200» (букв. «два (раза по) сто») предполагается отношение *аддитивности*. Сам Уитни квалифицировал указанную конструкцию как «*peculiar and wholly illogical*» [Whitney 1969: 180].

В поисках ответа на кардинальный вопрос, чем именно мотивирована столь необычная структура новоиндийских двузначных чисел на 9, перейдем от анализа в сферах лексикологии и исторической грамматики к рассмотрению смежных культурологических проблем. Общим местом в исследованиях традиционной индийской культуры является тезис о выявляемой на разных ее уровнях и сохраняющейся тысячелетиями гендерной асимметрии, или *андроцентризме*, в соответствии с которым носитель признака «маскулинность», – не важно, проявляется ли он в мире одушевленных существ или в скоплении неодушевленных субстанций, – неизменно предполагает доминантность по отношению к носителю признака «фемининность». Показателен, в частности, тот факт, что в Ригведе (< *Rg-veda* «гимно-ведение»), являвшейся древнейшим собранием исполняемых в ходе жертвоприношений гимнов богам, лишь крайне незначительная часть из общего количества в 1028 гимнов была прямо или косвенно связана с женскими божествами, тогда как основная масса текстов использовалась в ритуалах, посвященных правившим мирозданием богам-мужчинам.

Доминировавшая оппозиция «мужской – немужской (т. е. «женский»), помимо первичных биопсихологических и сексуальных коннотаций, предполагала облигаторную увязанность с первым компонентом противопоставления (в противовес второму) таких стереотипных характеристик, как бóльшая ритуальная или общественная значимость, бóльший размер или вес, бóльшая глубина мыслей или прозрачности соответствующих выражений и т. п. Короче, описание любого, прямо или переносно, «маскулинного» объекта нередко предполагало использование прилагательного *atirikta-* «дополнительный, содержащий добавочный элемент», тогда как «фемининный» контрагент характеризовался как *ūna-* или *ny-ūna-* «лишенный, дефектный». Та же пара определений, возможно, употреблялась и для обозначения собственно физиологических органов, являвшихся «различителями» биологического пола. Во всяком случае, субстантивированное *ūna-/nyūna-* в Брахманах нередко трактовалось как «(вселенское) лоно», производящее все живое. Ср. характерную формулу в ассоциируемой с Самаведой «26-й Брахмане»: *ūn-ād* (Abl Sg) ... *praj-āḥ* (Nom Pl) *prajāya-nte* (Pres-3Pl) [*Ṣaḍ-viṃśa Brāhmaṇa* 1.3.17.18] «Из “дефектной” (т. е. из *ūna*)... живые существа рождаются». В соотносившейся с Белой Яджурведой «Брахмане Ста Путей» оппозиция «*atirikta – ūna*» переносилась одновременно и на ритуальные инструменты, и на психофизические категории человека: признак «маскулинности» приписывался и большой ложке *sruva*, служившей черпаком для растопленного жертвенного масла (отождествляемого с семенем и потому тоже «маскулинного»), и категории «Разум», тогда как «фемининностью» характеризовались, с одной стороны, малая жертвенная ложка *sruca*, а с другой, «Речь» как специфичная для человека способность [*Śata-patha Brāhmaṇa* 1.4.4.1].

Еще более изоцированной оказывалась рассматриваемая оппозиция при ее перенесении на размеры хвалебных гимнов и на время их чтения старшим жрецом (*hotr*). В ходе жертвоприношения сомы хотр должен был произносить гимн ‘*gāyatrī*’, метрикой которого в норме предполагалось следование друг за другом трех 8-сложных стоп (*pāda*) [Елизаренкова 1972: 30–31]. При этом строфа, соотносимая с начальной (утренней) фазой ритуала, обязательно должна была характеризоваться «фемининностью» (*ūna*), и это до-

стигалось, в частности, за счет слияния (*saṃdhi*) двух соседних гласных. Например, в РВ IX.11.1 8-слоговую последовательность *‘pāvamānāya + indave’* «Павамане-соку» хотр пропевал как *‘pāvamānāyendave’*, сандхируя гласные [a] и [i] и этим обеспечивая требуемую 7-слоговость (т. е. «нечетность» и, значит, «фемининность») стопы. В отличие от утренней, полуденная выжимка сомы должна была сопровождаться стихом, содержащим «маскулинную» (*atirikta*) стопу, и это реализовывалось хотром за счет вставки [i] перед начинающим финальный слог [y]. К примеру, вторая стопа в стихе РВ IX.64.28 изначально должна была выглядеть как *‘paristóbhantayā kṛpā’* «С ослепительным блеском, // С красотой, окруженной восхвалениями» [Елизаренкова 1999: 52], но хотр, добиваясь «маскулинности», вставляет «добавочное» (*atirikta*) [i] и реализует всю цепочку как *‘paristóbhanta-i-yā kṛpā’*. Соответствующие преобразования в метрическом рисунке стоп именовались в Брахманах терминами *‘ūnākṣara-’* (< *ūna-* «дефектный» + *akṣara-* «слог») «уменьшение на один слог» и *‘atiriktākṣara-’* (*atirikta-* «добавочный» + *akṣara-* «слог») «увеличение на один слог».

Для продолжавшихся несколько дней и сопровождавшихся пением гимнов больших жертвоприношений весьма важным было заблаговременно определить, к какому типу – «маскулинному» или «фемининному» – следует относить тот или иной конкретный стих из числа намеченных к использованию в разные дни и часы при проведении соответствующего ритуала. Мерилом в таких случаях выступала одна из самых редких в Ригведе метрических формул, а именно размер «вираджд» (*dvipāda virāj*), каждая из двух стоп которого предполагала 10 слогов. Подсчитывалось суммарное множество стихов и определялось ближайшее к нему круглое число, кратное количеству слогов в стопе «вираджда», т. е. 10. Если при вычитании из числа-показателя суммарного множества стихов кратного стопе «вираджда» круглого числа получаемая разница характеризовалась *четностью*, подразумевалась «маскулинность» (*atirikta*) последнего по счету гимна, а если *нечетностью*, то гимн соотносился с «фемининностью» (*ūna*). Так, при однодневном ритуале выжимания сомы использовался цикл гимнов *‘Aupasada’*, включавший в себя 202 стиха; кратное «вираджду» круглое число в данном случае было равно 200, а разница в 2 стиха между 202 и 200 характеризовалась *четностью*, следовательно, заключительный 202-й стих понимался как «маскулинный» (*atirikta*), а предшествующий ему *нечетный* 201-й стих – как «фемининный» (*ūna*).

Приведенных примеров, как кажется, вполне достаточно для понимания того, что широко использовавшаяся в рамках древнеиндийской культуры гендерно-сексуальная метафорика, затрагивавшая, в частности, и сферу метрики, могла распространяться и на словообразовательные модели некоторых числительных, так как, по справедливому наблюдению Красухина, «языковое обозначение чисел... всегда метафорично» [Красухин 2014: 187]. С эволюцией индоарийского то, что являлось окказиональным в древности, сделалось облигаторным в новоиндийских обозначениях двузначных чисел на 9.

ЛИТЕРАТУРА

- Елизаренкова 1999 – Елизаренкова Т.Я. Ригведа. Мандалы IX–X. М.: Наука, 1999.
 Елизаренкова 1972 – Елизаренкова Т.Я. Ригведа. Избранные гимны. М.: Наука, 1972.
 Кочергина 1994 – Кочергина В.А. Учебник санскрита. М.: Филология, 1994.
 Красухин 2014 – Красухин К.Г. Этимология индоевропейских числительных и концепт числа // Логический анализ языка: Числовой код в разных языках и культурах / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 187–199.

- Липеровский 1978 – *Липеровский В.П.* Именные части речи языка хинди. М.: Наука, 1978.
- Савельева 1965 – *Савельева Л.В.* Язык гуджарати. М.: Наука, 1965.
- Эдельман 2014 – *Эдельман Д.И.* Еще раз о системах счета и числительных // Логический анализ языка: Числовой код в разных языках и культурах / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 68–79.
- Beames 1966 – *Beames J.* A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India: to wit. Hindi, Panjabi, Sindhi, Gujarati, Marathi, Oriya and Bengali, Delhi: Munshiram Manoharlal (Indian edition), 1966.
- Emmerick 1992 – *Emmerick R.E.* Old Indian // Indo-European Numerals. – Trends in Linguistics. Studies and Monographs 118 / Ed.: J. Gvozdanović. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1999. P. 163–198.
- Macdonell 1995 – *Macdonell A.A.* A Vedic Grammar for Students. Delhi: Motilal Banarsidass (Indian reprint), 1995.
- Monier-Williams 1899 – *Monier-Williams M.A.* Sanskrit-English Dictionary. Oxford, 1899.
- Montaut 2004 – *Montaut A.* A Grammar of Hindi. Muenchen: LINCOM EUROPA, 2004.
- Pāṇini* 1989 – Aṣṭādhyāyī of Pāṇini / Roman Transliteration and English Translation by Sumitra M. Katre. Varanasi; Patna; Bangalore; Madras: Motilal Banarsidass, 1989.
- Pokorny 1959 – *Pokorny J.* Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959.
- Whitney 1969 – *Whitney W.D.* Sanskrit Grammar. Delhi; Varanasi; Patna: Motilal Banarsidass (2nd Indian Edition), 1969.

Борис Алексеевич Захарьин
 доктор филологических наук, профессор
 заведующий кафедрой индийской филологии
 ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова

Boris Zakharjin
 Doctor of Philology, Professor
 Head of Department of Indian Philology
 Institute of Asian and African Studies
 Lomonosov Moscow State University
 zakharyin13@mail.ru

М. Зимин
Проблематика фонетической природы прагерманских *ʀ и *ð

M. Zimin
The Question of the Phonetic Nature of the Proto-Germanic *ʀ and *ð

Считается, что из современных германских языков только две группы идиомов, исландские диалекты и английские языки, отображают прагерманские фонетические свойства сегментов *ʀ и *ð, второй из которых в ходе внутренней эволюции этих групп получил независимый фонологический статус. На основании исландских и английских данных предполагается, что прагерманские сущности *ʀ и *ð являлись фрикативными. Однако едва ли возможно исчерпывающе реконструировать артикуляторные свойства сегментов праязыка, ориентируясь только на две группы потомков, чья собственная глубина распада и точные параметры диалектной фонетики не установлены до сих пор. Сам тот факт, что реконструкция фонетических признаков необходима, едва ли может ставиться под сомнение: сегментные наборы всех современных языков описываются в терминах фонетических признаков, а значит, для праязыкового состояния можно реконструировать все релевантные признаки отдельных сегментов или хотя бы попытаться провести такую процедуру. В противном случае мы попадаем в ситуацию, когда фонетика современных идиомов не выводится из свойств языка-предка.

Поскольку прагерманская реконструкция восходит к периоду, предшествовавшему становлению фонологической теории и основополагающей структуралистической процедуры, не все аспекты этой реконструкции одинаково хорошо переформулированы в терминах фонологии. И именно ряды прагерманских фрикативных остаются той частью сравнительно-исторической германистики, на которой и по сей день не применены методы фонологизации (ср. диспут об артикуляторных и фонологических свойствах праскандинавского рефлекса прагерм. *z). Из сказанного следует, что потребность заново реконструировать свойства прагерм. *ʀ и *ð не удастся устранить, сославшись на фонологическую иррелевантность точной артикуляторной этих фонем (а точнее, quasi-фонем, так как компаративистическая процедура не обладает средствами для того, чтобы установить в каждом конкретном синхронном срезе все контрастивные позиции). Мы не способны подробно описать свойства фрикативных фонем и правила их репрезентации в германском материале разных периодов, основываясь только на данных уже существующих реконструкций. Лишним аргументом за пересмотр соответствий с привлечением данных современных диалектов является результат наших наблюдений над аспектами типологии фонетических переходов.

В рамках построения типологии сегментной эволюции корональных несбилянтных фрикативов (как раз тех звуков, к которым причисляются и прагерм. *ʀ и *ð) мы выявили несколько фреквенталий, с которыми полностью не согласуется классическая модель развития германских языков от языка-предка к языкам памятников и современным литературным стандартам.

1. Направление эволюции несбилянтов соответствует общему направлению лениции: качество согласного меняется с фрикативного на аппроксимант или иной сонорный, во многих случаях финальной точкой сегментной эволюции становится полная элиминация.

2. В то время как развитие некоторой аффрикаты (сбилянтной, несбилянтной, дробящей) в корональный несбилянтный фрикатив типа θ или ð крайне частотно (известно

нам на примере 500 идиомов Евразии и Северной Африки), обратное крайне редко, если и не невозможно.

3. Устойчивость корональных несибилантов на уровне единиц сегментной фонетики не отличается от устойчивости согласных иных типов – в большинстве изученных групп несибиланты функционируют не менее 2 000 лет, обслуживая репрезентации резных фонем (мена фонологической аффилиации свойственна и прочим членам сегментного консонантизма).

Конкретной основой для исследования послужил материал романских, северо-восточных и южно-семитских, берберских, гойдельских, бриттских, васконских, саамских, прибалто-финских, северных самодийских, огузских, кыпчакских, алтайско-тюркских, «кыргызских», якут-долганского, амис, рукай, бунун, греческих, славянских, скандинавских, ингваэонских и ирмионских западно-германских идиомов. И на фоне указанных языковых групп развитие прагерманского и его ближайших потомков выглядит аномально. Но в то же время фактический материал по современным германским идиомам не противоречит представленным выше фреквенталиям, и даже наоборот – дополняет их. Следовательно, проблема фонетических свойств ***ɾ** и ***ð** действительно требует пересмотра. Однако выводы, которые можно сделать на его основе, окажутся довольно нетривиальными для индоевропеистики, в частности из-за малой цитируемости описаний многих локальных германских идиомов. Представим список интересующих нас рефлексов.

1. Аффриката (во всех позициях или в некотором сочетании)

1.1. на месте ***ɾ**:

1.1.1.(**всегда**) исландские диалекты Барзастрандарсюсла, Исафьярзасюсла, Хунаватнссюсла, Тингейрсюсла и Гримсей;

англиские диалекты Камбрии,

восточные англиские (гетероорганическая несибилантная $\widehat{r\theta}$, только после ***m**);

1.1.2.(**позиционно**) аустерландско-норвежские, нордландско-норвежские, вестландско-норвежские, идиомы Сэрна-Идер, йэнтландский (сибилантная «шипящая» $\widehat{tʃ}$, только в рефлексах сочетаний с ***j**);

гутнийские (сибилантная «шипящая» $\widehat{t\epsilon}$, только в рефлексах сочетаний с ***j**);

борнхольмские диалекты (сибилантная «шипящая» $\widehat{t\epsilon}$, только в рефлексах сочетаний с ***j**); гётские, свейские, норрландские, остерботтнийские, нюландские (во всех перечисленных – сибилантная «шипящая» $\widehat{(t)\epsilon}$, только в рефлексах сочетаний с ***j**);

ютландские (восточные, западные, северные), зеландско-датские (сибилантная «шипящая» $\widehat{t\epsilon}$, также только в рефлексах сочетаний с ***j**).

1.2. на месте ***ð**:

1.2.1.(**всегда**) исландские диалекты Барзастрандарсюсла, Исафьярзасюсла, Хунаватнссюсла, Тингейрсюсла и Гримсей; англиские диалекты Камбрии;

1.2.2.(**позиционно**) аустерландско-норвежские, нордландско-норвежские, вестландско-норвежские, Сэрна-Идер, йэнтландский (сибилантная «шипящая» $\widehat{d\zeta}$, только в рефлексах сочетаний с ***j**);

гутнийские диалекты (сибилантная «шипящая» $\widehat{d\zeta}$, только в рефлексах сочетаний с ***j**);

борнхольмские диалекты (сибилантная «шипящая» $\widehat{d\zeta}$, только в рефлексах сочетаний с ***j**); гётские, свейские, норрландские, остерботтнийские, нюландские (палатальная несибилантная \widehat{j} в рефлексах сочетаний с ***j**, в

современности – инвариантная реализация /j/);
ютландские (восточные, западные, северные), зеландско-датские (только в рефлексах сочетаний с *j, не встречается в копенгагенском).

2. Сегментный смычный (всегда)

2.1. на месте *p:

баварские; саксонские;
лимбургские диалекты, западно-франконские; верхнефранконские; пфальцские;
ютландские, зеландско-датские, остдатские;
гётские, свейские, норрландские, остерботтнийские, нюландские, эстландские;
эльвдальские;
аустерландско-норвежские, нордландско-норвежские, вестландско-норвежские,
Сэрна-Идер, йэнтландский;
гутнийские;
борнхольмские диалекты;
восточно-фризский; западно-фризские диалекты.

2.2. на месте *ð:

южные ютландские; восточно-фризский; западно-фризские диалекты; баварские;
саксонские; верхнефранконские.

3. Сегментный смычный (в распределении с некот. фрикативным)

3.1. на месте *p:

ютландские (восточные, западные, северные), идиомы Дании Восточной;
норн, фарерский; древнегренландский;
западно-англские языки Гоуэра и Пембрукшира, восточные англские, ульстерский
скотс; северно-фризские диалекты.

3.2. на месте *ð:

аустерландско-норвежские, нордландско-норвежские, вестландско-норвежские,
Сэрна-Идер, йэнтландский; гётские, свейские, норрландские, остерботтнийские,
нюландские; средне-северные диалекты скотса, западно-англские языки Гоуэра и
Пембрукшира; лимбургские диалекты; северно-фризские диалекты.

4. Сегментный несибилантный фрикативный (всегда)

4.1. на месте *p:

юго-восточные англские (частично), центральные англские (частично), северные
англские, диалекты скотс (южные, центральные, северно-северные);
исландский Рейкьяниса и Гуллбрингисюсла, исландский Сузурмулисюсла, исланд-
ский Ойстурскафтафеллесюсла.

4.2. на месте *ð:

исландский Рейкьяниса и Гуллбрингисюсла, исландский Сузурмулисюсла, исланд-
ский Ойстурскафтафеллесюсла;
центральные эльвдальские диалекты;
зеландско-датские, ютландские (восточные, западные, северные);
борнхольмские диалекты;

юго-восточные англские (частично), центральные англские (частично), северные англские, диалекты скотс (южные, центральные, северно-северные).

5. Сегментный сибилантный фрикативный

5.1. на месте *ɣ:

западно-франконские, верхнефранконские (на месте *ɣj)

6. Сегментный одноударный (центральный или латеральный)

6.1. на месте *ð:

6.1.1.(всегда) юго-восточные англские (частично), центральные англские (частично);

восточные пфальцские диалекты;

южные эльвдальские диалекты

6.1.2.(позиционно) зеландско-датские диалекты (на месте сочетания с *r), идиомы Дании Восточной (на месте сочетания с *r) ;

нордландско-норвежские идиомы (на месте сочетания с *r), вестландско-норвежские диалекты (на месте сочетания с *r), аустерландско-норвежские диалекты (на месте сочетания с *r).

7. Сегментный центральный аппроксимант

7.1. на месте *ɹ:

юго-восточные англские (частично), центральные англские (частично);

фарерские диалекты;

норрландские; идиомы Дании Восточной;

голландские и фламандские диалекты.

8. Сегментный латеральный аппроксимант

8.1. на месте *ð:

8.1.1.(всегда) юго-восточные англские (частично), центральные англские (частично); западные пфальцские диалекты;

8.1.2.(позиционно) свейские диалекты (на месте сочетания с *r), гётские диалекты (на месте сочетания с *r), норрландские (на месте сочетания с *r).

Итак, очевидно, что в большинстве промежуточных предков современных германских идиомов *ɣ и *ð развивались не как единая подсистема консонантизма, а изолированно, при этом вариативность рефлексов прагерманского *ð была крайне высока. Подобное несимметричное развитие может указывать лишь на тот факт, что в непосредственных предках указанных выше идиомов *ɣ и *ð имели совершенно разные артикуляторные свойства. Приходится заключить, что в предках всех групп, кроме англской, *ɣ являлся аффрикатой, тогда наблюдаемые рефлексы с превалированием смычных легко объясняются через сохранение одного из двух фонетических признаков предкового сегмента: (+смычный) (+фрикативный) (– сибилантный). Свойства же *ð разнятся по средневековым германским идиомам (как их себе можно представить, основываясь на абстракции над современными группами диалектов). В большинстве случаев это или фрикативный (рефлексирует как фрикативный, аппроксиманты, одноударные), или аффриката (рефлексирует как аффриката, смычный, одноударный).

Основываясь на этих данных, уже можно построить относительно точное прагерманское фонетическое отображение. Согласно нашему предположению quasi-фонемы *ɣ̥ и *ð̥ должны быть артикуляторно представлены несибилантными аффрикатами t̥θ̥ и d̥ð̥.

Подобная модель объясняет не только структуры современных идиомов, но также и ряд нетривиальных особенностей фонологии древних германских. Например, западногерманский переход $*\delta > \mathbf{d}$ после долгой гласной, двоякую рефлексацию $*\mathbf{r}$ в памятниках гренландского древнорвежского и в косвенных данных по восточно-европейскому древнешведскому, также и случаи нерегулярного отражения праскандинавского $*\delta$ в эльдвальском как \mathbf{d} .

Отдельно отметим проблематику скандинавских маркеров среднего рода $*\text{-it}$ и $*\text{-i}\delta$, рефлекс которых очень часто перечисляются среди междиалектных фонетических изоглосс континентальной Скандинавии (в первую очередь – Свеаланда и Гёталанда). Два эти маркера распределены в корпусе памятников по эпохам – в основных древнеисландских, древнегётских и древнесвейских текстах встречается только $*\text{-it}$, $*\text{-i}\delta$ же появляется значительно позже, примерно к XIII в. Но в то же время $*\text{-i}\delta$ является единственным маркером среднего рода в древнегутнийском (восточно-скандинавская подгруппа) и эльдвальском (базальная ветвь западно-скандинавской подгруппы). Традиционно мена маркеров среднего рода в памятниках объяснялась некими фонетическими причинами, якобы общими для исландского, датского, гутнийского и идиомов Гёталанда. Однако для большинства языков замена $\mathbf{t} > \delta$ наблюдается только в этой морфеме, а строго фонетические правила озвончения и лениции конечного глухого коронального смычного отсутствуют вовсе (именно таков случай гётских диалектов). Невозможно объяснить распределение маркеров ни на основе полученных нами типологических данных, ни из уточнения фонетической природы прагерманских $*\mathbf{r}$ и $*\delta$. Соответственно, вопреки глубоко укоренившемуся мнению (которого среди прочих придерживался М.И. Стеблин-Каменский), перед нами не фонетические параллелизмы, а морфологическая изоглосса между различными скандинавскими идиомами. Любопытным образом эта изоглосса делит разновременные литературные формы одной местности и соединяет идиомы, расположенные на сильном отдалении друг от друга.

$\text{-i}\delta$ формы: (западно-скандинавские) средне- и новоисландский, эльдвальский, норрландский, Сэрна-Идэр, йэнтландский, (восточно-скандинавские) гётские идиомы, гутнийский, ютландский, остерботтнийские, даларнские, идиомы Дании Восточной.

-it формы: (западно-скандинавские) древнеисландский, древнорвежский, фарерский, норн, аусландско-норвежский, вестерландско-норвежский, норландско-норвежский, (восточно-скандинавские) островной древнедатский, древнесвейский, древнегётский свейские идиомы, эстландские и нюландские идиомы.

Распределение идиомов указывает на существование нескольких праскандинавских показателей среднего рода и недостаточную надежность языков древних памятников в отрыве от сравнительно-исторического анализа современных языков.

Марк Михайлович Зимин
лаборант-исследователь
отдел урало-алтайских языков
Институт языкознания РАН

Mark Zimin
Research Laboratory Assistant
Department of Ural-Altaic Languages
Institute of Linguistics RAS
m.zimin@iling-ran.ru

К.Г. Красухин
**Имя и глагол в праиндоевропейском языковом состоянии:
сходства и различия**

Аннотация: В статье рассматривается развитие базовых частей речи в общеиндоевропейском языковом состоянии. По распространенной гипотезе, в ранний период оно характеризовалось изолирующим строем; одна и та же словоформа могла выступать в качестве имени и глагола. В статье показано, что обе части речи различались не только набором флексий, но и характером основ. И в имени, и в глаголе передвижение акцента с корня на флексию было одним из ведущих грамматических способов, но в имени основа унифицировалась, а в глаголе сохранялся количественный аблаут. Так зарождалась многоосновность индоевропейского глагола.

Ключевые слова: индоевропейское языковое состояние, имя, глагол, словесная основа, передвижение ударения, аблаут

K.G. Krasukhin
**Noun and Verb in Proto-Indo-European Language State:
Similarities and Differences**

Annotation: Author treats the development of basic parts of speech in Common Indo-European. It belonged, according the ide spread hypothesis to the languages of isolating type: the same word form could function as a noun or verb in a sentence. Author argues that both part of speech had difference non only in sets of flexion, but also in character of stem. The shift of accent on the right was a leading grammatical man in both; but nominal stems are unified, and verbal stem has preserved quantitative ablaut. So arose the IE verb as a multi-stem category.

Key words: Indo-European language state, noun, verb, word stem, accent movement, ablaut

Начиная с Франца Боппа [Bopp 1816] во многих публикациях [Hirt 1913; Клычков 1960; 1989; Герценберг 1981] шла речь об изначальной недифференцированности частей речи в праиндоевропейском языке, связанной с возможным корнеизолирующим характером общеиндоевропейского языкового состояния. Обращалось внимание, в частности, на возможное общее происхождение ряда именных и глагольных аффиксов, на близость ряда именных и глагольных форм, общность происхождения именных суффиксов и флексий 3 лица единственного и множественного числа [Solta 1958; Laroche 1975; Stempel 1986; Krasuchin 1996]. Эта черта объединяет реконструированное языковое состояние с такими языками, как английский и китайский, морфология которых бедна.

В английском близость имени и глагола проявляется в бессуффиксальной конверсии, которую А.И. Смирницкий назвал «нулевой суффиксацией» [Смирницкий 1959: 22–23]. Она возможна постольку, поскольку в языке почти полностью разрушено как склонение, так и спряжение¹. И одна и та же основа легко может воспринять как немногие флексии имени (поссесивное 's, окончание мн. ч.), так и единственную флексию глагола (-s как показатель 3 л. ед. ч.), суффиксы претерита и причастия: *many books* vs. *He books (booked) the foods in an internet-store; this room is booked by Mr. Smith*. Также показателем конверсии является образование глагольных форм и глагольных имен на *-ing*: *fist* 'кулак' – *to*

¹ Это необходимое условие. Во французском полностью исчезло склонение, но сохранилось спряжение; бессуффиксальной конверсии нет.

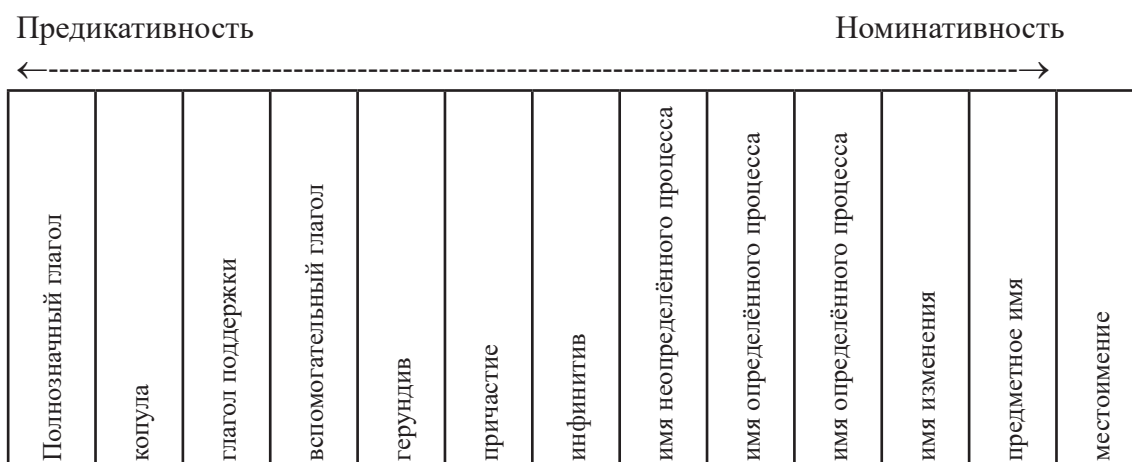
fist ‘драться’ (*fisting* – джерунд и отглагольное имя ‘кулачный бой’); *fish* ‘рыба’ – *to fish* ‘рыбу’ (*fishing* – джерунд и ‘рыболовство’). Следует отметить, что конвертироваться без суффиксов в глаголы могут только первичные имена; для производных это невозможно. Глаголы же не могут без суффиксов обращаться в имена. Совершенно особый случай – формы на *-ing*. В силу развития английского синтаксиса они приобрели два совершенно различных значения. С одной стороны, это обычное имя действия. С другой стороны, они образуют аналитическую конструкцию. Древнеанглийское сочетание глагола и причастия (*he ys singend*) передавало длительное действие, актуальное в момент речи. После отпадения причастий сформировалась конструкция *he is on singing*, причем в американском английском до конца XIX в. сохранялся вариант *a-singing*. После отпадения предлога или утраты им своего значения новая категория – джерунд – стала грамматическим омонимом к отглагольному имени, от которого отличается синтаксической валентностью, в частности беспредложным сочетанием с глаголом *to be*. Таким образом, при всей ограниченности английской морфологии в ней есть определенное разграничение глагола и имени. И, конечно, обе части речи различаются в контексте, по сочетаемости с разными членами предложения. Хотя, безусловно, возможна двусмысленность из-за омонимии морфологических показателей: *Flying planes can be dangerous* ‘Летающие самолеты могут быть опасны’ или ‘Полеты на самолетах могут быть опасны’.

В китайском языке словоизменяемые морфемы отсутствуют. И А. Масперо [Maspero 1934], Б. Карлгрэн [Karlgren 1923/1974], вслед за ними Н.Н. Коротков [Коротков 1968] полагал, что части речи в китайском языке весьма лабильны: синтаксические отношения выражаются с помощью весьма жестко фиксированного порядка слов и специальных служебных слов. Но они способны присоединяться к знаменательным словам без особого разбора, поэтому не приходится говорить о четком разделении в китайском языке частей речи. Но другие китаисты говорят о внутренней морфологии китайского языка [Солнцева 1985; Солнцев 1995], «скрытой грамматике» [Тань Аошуань 1999]. Под ней подразумевается способность знаменательных слов к сочетанию со служебными. Последние передают семантические оттенки, характерные либо для имени (показатель счетности), либо для глагола (показатель завершенности). И, по мнению В.М. Солнцевой, лишь немногие слова в китайском могут употребляться одновременно как имена и как глаголы [Солнцев 1995: 227–8]. В этом случае в зависимости от частеречной принадлежности и синтаксической роли слово сочетается со служебными словами либо именной группы, либо глагольной: *chûi* ‘пила’ – *i-bā-chûi* ‘одна пила’; *chûi* ‘пилить’ – *chûi-le* ‘он пилил’, *chûi-go* ‘приходилось пилить’, *chûi-zhe* ‘он пилит в данный момент’.

Следует вспомнить банальное положение: имя, если воспользоваться модным словом, – прототипический субъект, глагол – прототипический предикат. Имя тяготеет к единичности, предметности, конкретности, глагол – к выражению неличной сущности, абстрактности, процессуальности. Базовое же свойство предиката – выражение бытия, которое оказывается тесно связано с категорией времени. Как известно, еще Аристотель («Поэтика», гл. 20) различал имя и глагол как две значимые единицы языка, состоящие из незначимых единиц, противопоставленных отсутствием / наличием времени. Имя / субъект называет, глагол / предикат обозначает (*subiectum nominat, praedicatum significat*). Эдвард Сепир, скептически относившийся к возможности выявить части речи во всех языках мира, тем не менее отмечает: «...разграничение субъекта и предиката имеет столь фундаментальное значение, что подавляющее большинство языков специально его подчеркивает, создавая своего рода формальную преграду между этими двумя частями суждения» [Сепир 1993: 116]. Иными словами, различение имени и глагола –

одно из фундаментальных свойств очень многих языков. Не вполне ясно, имеются ли языки вне этой оппозиции. Поэтому каждый язык вырабатывает свои морфологические и синтаксические средства различения этих категорий. Вопрос о частях речи, следовательно, относится к числу фундаментальных для языкознания.

Для соотнесения частеречной принадлежности слова и его значения ряд лингвистов выдвинули представление о глагольно-именном *континууме*. Его можно представить так:



[Civilleri 2010:16]

Эта схема, конечно, вызывает определенные замечания. Под глаголом поддержки, очевидно, подразумевается модальный глагол, под копулой – некоторые формы бытийного. Имя «определенного» процесса – это, очевидно, имя результата, которое по значению мало отличается от предметного имени – только связью с соответствующим глагольным корнем. В той же работе воспроизводится интересная классификация У. Крофта [Croft 1991: 67], долженствующая определить базовые свойства существительных, прилагательных и глаголов. В ней различаются лексико-семантические группы слов (под которыми подразумеваются части речи) и выполняемые ими функции, именуемые прагматическими: выражение соотнесенности с действительностью (т. е. предметности), модификации (т. е. признака), предикации. Выглядит это так.

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Лексико-семантические классы	Соотнесенность (референция)	Модификация	Предикация
Объекты	Немаркированные имена	Генитивы, сложные слова	Именные предикаты
Свойства	Отглагольные имена	Немаркированные прилагательные	Предикативные прилагательные
Действия	Номинализация, дополнения, инфинитивы, герундии	Причастия, относительные предложения	Немаркированные глаголы

Следовательно, основные грамматические способы, свойственные определенным частям речи, выражают именно эти базовые свойства: существительные выражают предметы в функции соотнесения с действительности, прилагательные – свойства в функции модификации, глагол – действие в функции предикации.

Каким же был статус имени и глагола в праиндоевропейском языковом состоянии? Еще Франц Бопп отмечал, что форма **bher-mi* ‘я несу’ может быть истолкована как «я-носитель»: индифферентный к частеречной принадлежности корень имеет лексическое значение, а соотнесение с речью осуществляет форма личного местоимения. У глагола и имени действительно много общего: в атематических глаголах и именах «сильные» формы – ед. ч. (ударение на основе), «слабые» – мн. ч., медиальный залог у глагола, косвенные падежи у имени (ударение на флексии); в тематических основах ударение неподвижно. Но обращает на себя внимание и различие обеих частей речи. Глагольная основа характеризуется четким аблаутом: полная ступень *e* в сильных формах, *o* в слабых¹: хетт. *eszi* ‘он есть’ – мн. ч. *asanzi, dāi* ‘он ставит’ – мн. ч. *tiianzi; kuenzi* ‘он убивает’ – мн. ч. *kunanzi*, др.-инд. *hānti* ‘то же’ – *ghnānti, dégdhi* ‘он смазывает’ – *dihānti*. В именах же нет такого четкого противопоставления основ. Существуют атематические имена, сохранившие аблаут: др.-инд. *kṣām* ‘земля’, вин. п. *kṣāma*, лок. *kṣāmi* – ген.-абл. *kṣmāh*, дат. *kṣmé; nār* ‘мужчина’ – род. п. мн. ч. *nṛṇām*, инструменталь *nṛbhīh; śván* ‘собака’ – ген.-абл. *śunaḥ* (ср. греч. *κύων* – *κύος*); также *sānu* ‘гора’ – *snóh, dāru* ‘дерево’ – *droh*. Однако по большей части в имени обобщается какая-либо ступень. У имен с корнем структуры CRC, как правило, *o* ступень распространяется на всю парадигму: *rus* ‘свет’ – *rucáh*, греч. *γύψ, γυπός* ‘коршун’, *θρίξ, τριχός* ‘волосы. Следует предположить, что первичное **léuk-s / lukó-s* заменилось на **lúk-s / lukó-s*. Этот процесс связан, по-видимому, с тем, что в праиндоевропейском, помимо самых архаичных генитива и датива, сформировались окситонные инструменталь и аблатив. Число падежных форм с *o* ступенью стало преобладать, см. о симметричной и асимметричной падежных системах [Красухин 2005]. Сходным образом из древнегреческого *μήν, μηνός*, вин. п. *μήνα* развилось н.-греч. *μήνας* ‘месяц’, из др.-русск. *свекры, свекрове* – *свекровь*: более редкие формы выровнялись по более распространенным.

В качестве исключения можно упомянуть глоссу *σκοίψ· φορά* (Hes.) ‘парша’, *γλαύξ, γλαυκός* ‘сова’. Особняком стоит *δόρξ, δορκός* ‘газель’. Это имя можно связать с глаголом *δέркоμαι* ‘смотреть’, но вариант *ζόρξ* заставляет вспомнить галатское *ἰορκοί, ἰυρκοί* ‘олени’, валлийское *iwrch*, корнское *yorch* ‘лань’: имя может быть кельтским заимствованием. На наш взгляд, в этом имени произошла контаминация исконного и заимствованного корней, и благодаря последнему зафиксирована ступень *o*. *o* ступень представлена в наречии, содержащем корневое имя: *ὑπόδρα* ‘исподлобья’ (**upo-drk-*, ср. др.-инд. *upadṛś* ‘взгляд’). Также аблаут сохранился в суффиксах имен родства: др.-ин. *pitár – pitúr, mātar – mātur, bhrātar – bhrātúr, duhitár – duhitúr*, греч. *πατήρ – πατρός, μήτηρ – μητρός, θυγάτηρ – θυγατρός*, лат. *pater – patris, mater – matris, frater – fratris*. Несколько имен с аблаутом в спряжении сохранилось в хеттском: *ais*, род.п. *issas* ‘пот’, *uatar (uidār)*, род. п. *úitenas*, дат.-мест. *úitēni* ‘вода²’; *tekan*, род. п. *tagnas*, лок. *dagan* ‘земля’ [Kronasser 1955: 119; 270; 282; Neu 1980].

Однако в основном склонение осуществляется без аблаута основы (с полным сохранением аблаута во флексии). Также имеются единичные случаи оппозиции однокоренных имен по полной и *o* ступени. Ср др.-инд. *vís / vés* ‘птица’. Вторая форма употребляется преимущественно в сравнениях (*vés ná* ‘словно птица’), т. е. по значению приближается к эпитету. От близких корней образованы *σφάξ* ‘расщелина’ (*s-g^{uh}h₂-g-*) и *σφήξ* ‘пчела’

¹ Мы не рассматриваем сейчас так называемые «протеродинамические» глаголы (с долготой гласного в сильных формах, краткостью в слабых), «презене Джексона» (*o* в сильных формах / *e* в слабых). Сомнения в их существовании были выражены в [Красухин 2016, гл. 2]

² Вероятно, *uatar / uetenas* отражает и.-е. **uodr / *udéns* (о чередовании *u/ue-* [Фридрих 1952]). Номинатив *uidār*, очевидно, является древним коллективным именем [Oettinger 1993]. Его следует трактовать как **udār* и сравнить с греч. *ἕδωρ*.

(*sg^{uh}eh₂-k-); πλάξ ‘лепешка’ – βούπληξ ‘стрекало для быка’ (*p_lh₂-k- / pleh₂-g-): δάξ, ὀδάξ ‘укусом’ – δήξ· ε δος σκώληκος ἐγγινυμένου ἔνδον τῶν ξύλων (Tzetzes ad Hes. Op. 420) ‘вид червя, рождающегося внутри дерева’. Имя в полной ступени вокализма указывает на деятеля или орудие, с *θ* – на результат. Это соответствует общему распределению значений в аблаутных вариантах, но, конечно, на нескольких примерах нельзя делать общие выводы. Впрочем, имя δήξ показательно: корень *d_hk̂ не содержит ларингала (ср. др.-инд. *daśana* ‘зуб’). Очевидно, долгота развилась под влиянием таких имен, как σφήξ. Следовательно, оппозиция когда-то была продуктивной.

Как мы отмечали, в греческом корневые имена имеют по преимуществу степень *o*. Однако возможна и степень *e*: φθείρ ‘вошь’ (< *φθείρ-ς), κτεῖς ‘гребень’ (*κτέν-ς), φλέψ ‘вена’, Τρέξ ‘бог бега’, σκέψ (Herod, I 14:4) – без значения, предположительно ‘стражник’. Существуют и дублиеты типа ἐπίτεξ ‘близкая к родам’ – вин. п. ἐπίτοκα; παρα-βλίψ ‘смотрящий вбок’ – κατῶβλεψ ‘смотрящий вниз’. Возможна и продленная степень. Частично она была унаследована от общеиндоевропейского языкового состояния, где развилась у основ на плавный, дрожащий, носовые звуки как следствие законов Штрайтберга и Семереньи. Затем по аналогии она распространилась и на другие основы, например σκώψ, φώρ, где была обобщена на всю парадигму (противопоставляя род. п. σκωπός, φωρός именам σκοπός, φορός). Иногда чередование ступеней диагностируется при сравнении языков: лат. *pes, pedis* – греч. πούς, ποδός. Продленная степень – в ведическом номинативе *páti*, аккузативе *pádam*, а также в др.-исл. *fótr*.

Итак, мы видим в имени значительное разнообразие основ различных имен при явной тенденции к унификации основы в одном имени. Правда, в именной морфологии возможно также противопоставление прямых падежей косвенным. Этому процессу противостоит выравнивание основы по косвенным падежам, и грамматическое противопоставление выражается только флексиями. Именно вследствие последней тенденции в именах с корнями структуры CRC возобладали *θ* ступень. У имен с корнями структуры CR, CC в безударной позиции имело место фонетическое изменение *e > o*. Таким образом, вероятно, первоначальное склонение корневых имен выглядело так: *péd-s → *podés с выравниванием в πούς, ποδός и *pes, pedis*. Еще сложнее аблаут и акцент во множественном числе: ударение в одной и той же падежной форме может стоять на разных слогах, степень вокализма основы с ударением напрямую не связана; древнеиндийское *n̄ñām / narām* (род. п. мн. ч.) наглядно это показывает. Связано это с более поздним происхождением множественного числа [Тронский 1946], когда силовая компонента индоевропейского акцента ослабела, а его передвижение отчасти утратило свое грамматическое значение.

В глагольном же спряжении никакой тенденции к унификации не видно. Правда, в первых двух лицах иногда возможно колебание: лат. *sumus / estis*. Анализируя причины таких колебаний, Фредерик Линдемман отметил, что у первых двух лиц нет устоявшегося вокализма, так как они сформировались позже, что следует и из колебаний в окончаниях [Lindeman 1976]. Но 3 л. мн. ч. регулярно несет ударение на окончании и характеризуется *θ* степенью вокализма основы. Гарольд Кох [Koch 2001] построил типологию отношений лиц с точки зрения их аблаута в их формах: от 3:3 (формы ед. ч. в полной ступени корневого вокализма: формы мн. ч. в *θ*) до 5:1 (все формы в полной ступени вокализма: 3 л. мн. ч. в *θ*). Это можно проиллюстрировать сопоставлением спряжения глагола *быть* в древнеиндийском, латинском, хеттском, церковнославянском:

ásmi	smáh	sum	sumus	esmi	esuen	єсмь	єсмы
ási	sthá	es	eštis	essi	ešten	єси	єсте
ásti	sánti	ešt	sunt	eszi	asanzi	єсть	сжть

Примечания к таблице: 1. Лат. *sum* происходит из *esum* < **esm*, на что указывали римские грамматики. 2. Форма *sumus* спорна: она может отражать исконную полную или *0* ступень вокализма. 3. В хеттской парадигме даны формы претерита 1 л. ед. ч. и императива 2 л. мн. ч. Они отличаются от индикатива презенса только отсутствием показателя настоящего времени *-i*.

Таким образом, древнеиндийское спряжение демонстрирует пропорцию 3:3, хеттское и церковнославянское – 5:1, латинское – 5:1 или 4:2.

Регулярная окситонность и вокализм формы 3 л. мн. ч. несомненна. Думается, что это связано с некоторыми принципиальными различиями индоевропейского имени и глагола. Глагол проявляет тенденцию к образованию различных основ в рамках словоизменения, и это одна из его важнейших морфологических черт. Существует известная концепция Ф.Р. Адрадоса [Adrados et al. 1981], согласно которой общеиндоевропейское языковое состояние можно разделить на три периода: в раннем состоянии у глаголов имела только одна основа; в средний период формируется многоосновный глагол (презенс – аорист – перфект); в поздний период появляются существенные диалектные различия. Именно анатолийские языки отразили древний строй индоевропейского праязыка с единой глагольной основой в презенсе и претерите. Тем не менее многообразие основ можно наблюдать и в анатолийском: помимо аблаутных вариантов в единственном и во множественном числе – разнообразие суффиксов, придающих различные значения глаголам. Ср. *tepaueszi* ‘уменьшаться’ – *tepnuzzi* ‘уменьшать’, *tepauahda* ‘уменьшил’; *ari* ‘подниматься’, *artari* ‘стоять’ – *arnuzi* ‘поднимать’. Из этих изначально словообразовательных морфем стала строиться система аспектов и времен в других индоевропейских языках, т. е. они оказались внедрены в одну. Но тенденция противопоставления основ в рамках одного глагола, очевидно, зародилась на ранних этапах развития общеиндоевропейского языкового состояния. Эту концепцию можно соотнести с «пространственно-временной моделью» Вольфганга Майда [Meid 1975], согласно которой в ранний период противопоставлялись глаголы действия глаголам состояния, в средний сформировалась аспектуальная система, в поздний – темпоральная (в России эту теорию поддерживал В.К. Казарян [2013]). При формировании аспектуальных и временных основ важную роль играл аблаут.

Выше мы говорили о том, что в древнегреческом сохранились незначительные следы противопоставления корневых имен с полной и *0* ступенью, затрагивающие их значения. В глаголе такая оппозиция развита значительно больше: глагол в полной ступени корневого вокализма переходен, в *0* – непереходен. Это, безусловно, связано с тем, что медиальные формы тоже относятся к слабым, следовательно, *0* ступень связана и с неактивным залогом / диатезой. В древнегреческом языке довольно продуктивна оппозиция переходного сигматического аориста в полной ступени и непереходного тематического: ἔθρεψα ‘я выкормил’ – ἔτραφον ‘я вырос’, ἤρειψα ‘я толкнул’ – ἤριπον ‘я упал’, ἔτευξα ‘я создал’ – ἔτυχον ‘я случайно оказался’. От этого аориста образован презенс с назальным инфиксом: τυγχάνω ‘случаться’ – лексема, отличная от однокоренного τεύχω. Впрочем, если в аористе нет оппозиции, то такой презенс тоже не отличается по значению от содержащего полную ступень: ἔλιπον ‘я оставил’ – λείπω / λιμπάνω; ἔφυγον – φεύγω / φυγγάνω.

Весьма продуктивен этот способ образования различных диатез в литовском: он затрагивает не меньше 100 глагольных корней. У переходных глаголов полная ступень

корневого вокализма, продленная в претерите (и морфема 3 л. -*ē*); у непереходных при 0 ступени в презенсе имеется суффикс *-st-* или инфикс *-n-*; претерит образован морфемой *-o*. Аналогичная картина в славянских языках, где в качестве переходных выступают изначально каузативные глаголы со ступенью *o* в корне: *гоубити* – *гыбнѣти*, *оузити* – *вазнѣти*. В германских и анатолийских языках – следы: гот. *þagkjan* ‘думать’ – *þugkan* ‘казаться’ (др.-англ. *þencan* – *þuncan*, нем. *denken* – *dünken*¹); др.-исл. *duger* ‘он подходит, годится’; хетт. *dai* ‘ставить’ – *tiazzi* ‘происходить, наступать’ (этот глагол иногда возводят к корню **steh₂* – ‘стоять’, но по значению он близок к **dheh₁* – ‘класть, помещать’). Следует отметить, что в балтийских и славянских языках глагольные пары упомянутого типа образованы различными лексемами. Это показал Ф.Ф. Фортунатов [1897] в полемике с Г.К. Ульяновым [1891]. Ульянов видел в них залоговые оппозиции, но Фортунатов показал, что противопоставленные глаголы могут иметь различные значения, т. е. оппозиция не словоизменительная, а словообразовательная. В греческом же переходные глаголы иногда объединяются в одну лексему [Kølln 1969].

В системе имени значения различаются благодаря позиции ударения: имена деятеля несут его на тематическом гласном, имена действия – на корне. Степень вокализма в данном случае не является средством словообразования.

Так начало формироваться существенное различие двух базовых частей речи: для имени стала характерна унификация основ и изменение вокализма в основе перестало играть существенную роль; в глаголе же, наоборот, именно аблаут сформировал несколько важных оппозиций в словоизменении, затем в словообразовании.

Как видим, изменения такого рода носят в известном смысле скачкообразный характер: поначалу незначительные вариации основ могут либо быть нивелированы аналогией, либо, напротив, стать конституирующими в формировании новых грамматических категорий.

Развитие многоосновности глагола, как представляется, удобно описывать с точки зрения общей теории языковых изменений. Изложение основ этой теории может быть темой и математической теории катастроф. Эта теория была разработана Рене Томом, специальная публикация посвящена применению ее к языкознанию [Том 1975]. Эта статья посвящена синтаксическим трансформациям, для характеристики которых Том использует так называемые *морфологии* – типы изменений, присутствующих в его теории. Из морфологий Тома к процессу языковых изменений приложимы 12 *a* – Объединить; 12 *b* – Разделить; 12 *a* – Превратиться. Они соответствуют основным понятиям теории языковых изменений: *split*, *merger*, *substitution*, *transformation*. Очевидно, интересной задачей будущих исследований может стать построение общей теории языковых изменений на базе топологии и теории катастроф.

ЛИТЕРАТУРА

- Герценберг Л.Г. Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981.
- Казарян В.К. Архаизмы и инновации хеттского глагола в контексте индо-хеттской гипотезы // Индоевропейское языкознание и классическая филология-XXIII (чтения памяти И.М. Тронского). Материалы Международной конференции, проходившей 24–26 июня 2019 г. / Отв. редактор Н.Н. Казанский. СПб.: Наука, 2019. С. 469–485.

¹ Глагол «казаться» требует субъекта в дательном падеже: др.-англ. *him þuhte* ‘ему показалось’. Глаголы состояния часто требуют при себе субъект в косвенном падеже.

- Клычков Г.С.* Типологическая гипотеза реконструкции индоевропейского праязыка и проблемы становления индоевропейских флексий // Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков: Материалы научной сессии. М., 1964.
- Теория верификации в сравнительно-историческом языкознании: Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. М., 1989.
- Коротков Н.Н.* Основные особенности морфологического строя китайского языка. М., 1968.
- Сепир Э.* Язык // Сепир Э. Избранные работы по языкознанию и культуре. М.: Прогресс, 1993. С. 223–247.
- Смирницкий А.И.* Морфология английского языка. М., 1959.
- Солнцев В.М.* Введение в изучение изолирующих языков. М., 1995.
- Солнцева Н.В.* Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1988.
- Том Р.* Лингвистика и топология // Успехи математических наук. 1975. Т. 30. Вып. 1(181). С. 199–221.
- Степанов Ю.С.* Славянский глагольный вид и балтийская диатеза: (Проблемы генезиса и реконструкция) // Славянское языкознание: Доклады советской делегации на VIII Международном съезде славистов. М., 1978. С. 335–363.
- Тронский И.М.* К семантике множественного числа в греческом и латинском языках // Ученые записки ЛГУ. № 69. Сер. филолог. наук. Л., 1946. Вып. 10. С. 61.
- Ульянов Г.К.* Значения глагольных основ в литовско-славянском языке. Ч. I–II. Варшава, 1891–1895.
- Фортунатов Ф.Ф.* Критический разбор сочинения профессора Императорского Варшавского университета Ульянова Г.К. «Значения глагольных основ в литовско-славянском языке. Части I–II (Варшава, 1891–95 г.). СПб., 1897.
- Фридрих И.* Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952.
- Adrados F.R.* Indo-European *s*-stems and the Origin of Polythematic Verbal Inflexion // Indogermanische Forschungen. 1981. Bd. 86. S. 91–120.
- Bopp F.* Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechisch-lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Frankfurt a/Main, 1816.
- Civilleri G.O.* Nomi deverbali nel *continuum* nome / verbo: il caso del greco antico: Dissertazione. Roma, 2010.
- Croft W.* Syntactic Categories and Grammatical Relations: The Cognitive Organization of Information. Chicago; London, 1991.
- Hirt H.* Die Fragen des Vokalismus und der Stammbildung // Indogermanische Forschungen. 1913. Bd. 32. S. 209–318.
- Karlgren B.* Analytic dictionary of Chinese and Sino-Japanese. New York, 1974 (1st ed.: 1923).
- Koch H.* Order and Disorder in the Reconstruction of the Ablaut Patterns of Athematic Verbs in Proto-Indo-European // Proceedings of the Eleventh Annual UCLA Indo-European Conference, Los Angeles June 4–6, 1999 / K. Jones-Bley, E. Martin, H. and A. Della Volpe (eds.). (Journal of Indo-European Studies Monograph Series No. 35) Washington DC: Institute for the Study of Man, 2000. P. 251–266.
- Kølln H.* The Opposition of Voice in Greek, Slavic, and Baltic. København, 1969.
- Krasuchin K.G.* Studien zur Beziehungen zwischen indoeuropäischen Nomina und Verben // Indogermanische Forschungen. 1996. Bd. 101. S. 28–48.
- Kronasser H.* Etymologie der hethitischen Sprache. Wiesbaden, 1966.

- Laroche E.* Les noms en *-ti-* et *-tu-* en langues anatoliennes // Melanges offerts à George Dumezil. Paris, 1975.
- Lindeman F.O.* L'apophonie radicale au present-imparfait actif des verbes athematiques // Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. 1976. Vol. 71.
- Maspero A.* La langue chinoise // Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris. Paris: Boivin, 1934.
- Meid W.* Problemen der räumlichen und zeitlichen Gliederung des Indogermanischen // Flexion und Wortbildung: Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft / H. Rix (Hrsg). Wiesbaden: Reichert, 1975.
- Neu E.* Der engungloser Lokativ im Hethitischen. Innsbruck, 1980.
- Oettinger N.* Zu indogermanischen Kollektiva // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 1993. Bd. 20.
- Solta G.R.* Gedanken über *-nt-* Suffix. Wien, 1958.
- Stempel R.* Die Diathese im Indogermanischen: Formen und Funktionen des Mediums und ihre sprachhistorische Grundlagen. Innsbruck, 1996.

Константин Геннадьевич Красухин
 доктор филологических наук
 заведующий Сектором общей компаративистики
 Институт языкознания РАН;
 профессор кафедры общего и сравнительного языкознания
 МГУ имени М.В. Ломоносова,
 кафедры романо-германской филологии ПСТГУ,
 кафедры лингвистики Губернаторского университета «Дубна»

Konstantin Krasukhin
 Dr. hab.
 Head of Department of Comparative Linguistics
 Institute of Linguistics, RAS
 Professor of Department of General and Comparative Linguistics of Lomonosov Moscow State University,
 Professor of Department of Romanic and Germanic Philology of Saint-Tykhon Orthodox University,
 Professor of Department of Linguistics of Governor's University «Dubna»

Ли Лин

Принципы лексикографического описания происхождения слов в русской и китайской лингвистической традиции

Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие «происхождение слов» в русской и китайской лексикологии. В русском языке данным понятием занимается этимология, которая опирается на фонетический облик слова, его словообразовательную структуру и значение слов в рамках индоевропейской языковой семьи. А в китайском языке происхождением слов занимается китайская иероглифология, которая более акцентирует внимание на объяснении принципа образования именованного, его семантики и звуко-смысловых соотношений в пределах именно китайского языка.

Ключевые слова: этимология, происхождение слов, реконструкция праязыка, индоевропейские языки, китайская иероглифология, способ образования иероглифа, идеографический

Li Ling

Principles of Lexicographic Description of the Origin of Words in the Russian and Chinese Linguistic Tradition

Annotation: The present article deals with the concept of «origin of words» in Russian and Chinese lexicology, in the Russian language, this concept is dealt with etymology, which is based on the phonetic appearance of the word, its word-formation structure and meaning of words within the Indo-European language family. And in Chinese, the origin of words is dealt with by Chinese hieroglyphology, which is more focused on the explanation of the principle of naming, its semantics and sound-sense relations within Chinese language.

Key words: etymology, origin of words, reconstruction of protolanguage, Indo-European languages, Chinese hieroglyphology, method of hieroglyph formation, ideographic

Европейская и китайская лингвистические традиции вырабатывали принципы лексикографического описания происхождения слова, однако разные методы представления лингвистической информации в русских и китайских словарях демонстрируют отличия понимания самого устройства слова, характера изменения его звучания и значения и т. п.

Задачей статьи является сравнение русских и китайских словарей, содержащих информацию о происхождении слова и об изменении его значения и звучания. Представляется, что не только принципы анализа исторической изменчивости и происхождения лексики, но и сама лингвистическую терминологию, отражающую приемы реконструкции звучания и значения слова, принятую в русском и китайском языкознании, трудно привести к общему знаменателю.

Рассмотрим принципы составления словарной статьи, представляющей информацию о происхождении слова, в русской и китайской лексикографии.

В русской лингвистике дисциплина, исследующая происхождение слова и выясняющая изменение звучания и значения слова, называется этимологией. Эта дисциплина широко использует метод этимологического анализа, предложенный еще в древней Греции и применяемый на материале любого (в том числе и русского) языка.

Сам термин *этимология* произошел от древнегреческого слова (ἔτυμολογία от ἔτυμον – истина и λόγος – слово, учение) и означает *учение о происхождении слов*. Предмет этимологии заключается в изучении источников и процесса формирования словарного состава языка и реконструкции словарного состава языка древнейшего периода. Целью этимоло-

гического анализа слова является определение того, когда, в каком языке, по какой словообразовательной модели, на база какого языкового материала, в какой форме и с каким значением возникло слово, а также какие исторические изменения его первичной формы и значения обусловили форму и значение, известные исследователю. Этимология имеет большое значение для развития исторической лексикологии в целом и для сравнительно-исторического языкознания [Ярцева 1998: 596].

Кроме того, этимология оказывается тесно связанной с другими науками. Так, процесс выяснения первоначального значения слов дает нам возможность познакомиться с фрагментами языковой картины мира древнего человека и с элементами материальной и духовной культуры.

В России ученые стали серьезно заниматься этимологией лишь с конца XVIII в., на протяжении всего XIX в. в рамках сравнительно-исторического языкознания этимология переживает бурный расцвет. В результате этимологического анализа слов родственных языков в разные периоды их развития ученые получили картину исторического развития общих слов первоначального праязыка – древнейшего прародителя семьи языков.

Блестящие результаты, которые невозможно игнорировать, были обобщены в различных этимологических словарях русского и других славянских и индоевропейских языков. В качестве примера можно привести «Этимологический словарь русского языка» А. Преображенского (1910–1914 гг.), «Русский этимологический словарь» М. Фасмера (1950–1958 гг.), «Историко-этимологический словарь современного русского языка» П.Я. Черных (1994 г.) и др.

В процессе этимологического анализа слов русского языка необходимо рассматривать происхождение слов, изменение значения слов в контексте лексики родственных языков, а именно индоевропейской языковой семьи. Так как русский язык относится к восточнославянской подгруппе славянской группы индоевропейской языковой семьи, русский язык сравнивается с ближайшими родственниками – восточнославянскими языками, шире – со славянскими и еще шире – с индоевропейскими языками.

Согласно теории дивергентного развития родственных языков, представленной в виде картинки родословного дерева, предложенной немецким ученым Августом Шлейхером в середине XIX в., происхождение русских слов можно вести от балто-славянского периода, далее германо-славянского и возводить к праиндоевропейскому языку. Поэтому во многих этимологических словарях русского языка в словарную статью включены не только соответствия со словами близкородственных, но и других индоевропейских языков.

Поскольку этимологические словари ставят задачу реконструкции первоначального значения слова, они иногда воссоздают реконструированную, гипотетически существовавшую форму (и помечают эту форму специальным значком * (этот значок, маркирующий реконструированную форму, ввел Август Шлейхер). Метод реконструкции придумал и предложил лингвистам А. Шлейхер. Этот метод внешней реконструкции (когда применяется материал не одного языка, а нескольких) опирается на конкретные регулярные соответствия слов: фонетические, морфологические и семантические.

Чтобы наглядно продемонстрировать этимологию русского слова, приведем пример из «Историко-этимологического словаря современного русского языка» П.Я. Черных.

См. образец словарной статьи [Черных 1999, 1: 575].

НОГÁ, -и, ж. – «одна из двух нижних конечностей человека, а также одна из конечностей животного». Прил. ножной, -ая, -ое; Укр. ногá, нòжний, -á, -é; блр. нагá, нажны, -áя, -óе; болг. диал. ногá (обычно крак); с.-хорв. нòга, нòжки, -ã, -ò; словен. noга, požen, -žna, -žno; чеш. <...> Др.-рус. (с XI в.) нога, позже (в Геннад. Библии

1499 г.) ножьный (Срезневский, II, 461, 464). =О.-с. *noga. Корень *nog-, тот же, что в о.-с. *nogъть > рус. ноготь (см.). Ср. лит. pagà – «копыто», pãgas – «ноготь», «коготь» («нога» - kója); латыш. Nags – «ноготь», «коготь», «копыто»; др.-прус. page – «нога»; латин. Unguis (основа *nogh-u-) – «ноготь»; греч. <...> др.-в.-нем. pagal – «ноготь» (совр. нем. Nagel – «ноготь», «коготь»); <...> и др. И.-е. корень *ongh- (:onogh-): *ongh- (Pokorny, I, 780). Старшее знач., надо полагать, «копыто».

Итак, из примера словарной статьи видно, что кроме основной и дополнительной лексической и грамматической информации о слове (заглавного слова с ударением и грамматическими формами, толкованием заглавного слова и объяснением значения производных слов) автор разбирает этимологию заглавного слова:

1) автор словаря приводит соответствия в близкородственных языках, т. е. в группе славянских языков, а именно перечисляет соответствия на украинском, белорусском, болгарском, словенском и др. языках;

2) далее автор описывает историю слова: указывает время первой фиксации слова в памятниках письменности, сообщает сведения об изменениях значения, произношения или написания слова, происшедших со времени его первого появления в языке. В данном примере показано, что слово НОГА является общим для славянских языков и что это слово реконструируется для общеславянского языка;

3) потом автор словаря приводит примеры, показывающие, что слово НОГА встречается в других индоевропейских языках: литовском, латышском, древнепрусском, греческом и др. Приводит реконструкцию индоевропейского корня *ongh- и сообщает, что это слово имело значение *копыто*.

На этом примере мы можем убедиться, что русское слово НОГА – это результат эволюции индоевропейского корня *ongh- со значением *копыто*. Несмотря на изменение значения такой результат не вызывает противоречия, ведь слово обозначало конечность человека и животного.

Таким образом, в русском языке (как и в любом индоевропейском) этимологический анализ опирается на фонетический облик слова, его словообразовательную структуру и значение.

Поскольку сам термин *этимология* тесно связан со сравнительно-историческим языкознанием (внешней реконструкцией), при изучении происхождения слов ученые стараются реконструировать языковую праформу на основе фонетических, морфологических и семантических соответствий слов родственных языков (учитывается близкое и дальнее родство языков). Но изучение происхождения слов в китайском языкознании принципиально отличается от этимологического анализа, принятого в европейском языкознании.

Китайская лингвистическая традиция долгое время развивалась автономно, китайские ученые вовсе не ставили цель сравнивать китайские слова со словами родственных языков. Китайский язык, как известно, принадлежит к сино-тибетской языковой семье, но он очень давно отделился от других языков этой семьи, поэтому сравнение родственных языков оказывается сложной процедурой, опирающейся на предварительную реконструкцию. Поэтому китайские ученые, не привыкшие сравнивать китайские слова со словами других языков, разработали собственный принцип анализа изменчивости слов и методы выявления их происхождения. Для китайцев изучение происхождения китайских слов не выходит за пределы самого китайского языка и опирается на древнейшую китайскую систему письма – иероглифику. Соответственно, термин «ЭТИМОЛОГИЯ» не употребляется при изучении происхождения слов китайского языка. Представляется, что

термином, отражающим понятие наиболее близкое европейской этимологии, является китайский термин 文字学 [вэньцзы сюэ]. Этот термин называет раздел китайского языкознания, изучающий иероглифы – их происхождение и развитие, соотношение между значением, формой и произношением иероглифов, также и их правописание [在线新华字典 2019: Электронный ресурс].

Нам кажется уместным использовать два эквивалентных термина: **этимология** и **иероглифология**, – отражающих принципы анализа исторической изменчивости и происхождения слов. Таким образом, в русском языкознании происхождением слов занимается этимология, а в китайском языкознании – иероглифология.

При изучении происхождения слов китайского языка иероглифологический анализ более акцентирует внимание на объяснении принципа образования именованного, его семантики и звуко-смысловых соотношений. Китайский язык – иероглифический или идеографический, это значит, что каждому знаку (иероглифу) приписано какое-то значение (семантика), наряду с фонетикой (звучанием).

Например: иероглиф «鸣» [мин]¹ обозначает *пение* или *крик птиц*, он образуется от иероглифов «口 [коу] *род, клюв*» и «鸟 [няо] *птица*». Поэтому способ образования иероглифов при изучении китайского письма чрезвычайно важен. В силу этого, соответственно, особая цель иероглифологического анализа китайского слова заключается в раскрытии логики образования иероглифа (объяснении этой логики).

Иероглифологический анализ китайских слов опирается на изучение иероглифа. Рассмотрим основные способы образования китайских иероглифов.

Сюй Шэнь² впервые классифицировал иероглифы по 6 основным способам их образования.

1. Изобразительная пиктограмма (象形 [Xiàng xíng][Сян син])

Знаки-рисунки изображают форму предмета; этот способ самый простой, очевидный и наглядный, поэтому он является самым древним способом образования иероглифов. Например, иероглиф «月 луна» изображает форму неполной луны; иероглиф «龟 черепаха» изображает черепаху на боку.

2. Указательный способ (指事 [Zhǐ shì][Чжи ши])

Основное отличие данного способа от пиктограмм (первого способа) заключается в том, что иероглиф указательной категории выражает абстрактное значение, он содержит нечто более абстрактное в знаке, изображение оказывается более символическим. Например, иероглиф «凶» изображает *опасность* путем изображения крестика в ловушке. Абстрактные иероглифы могут образовываться с помощью специальных дополнительных символов: например, «上 и 下» изображают *верх* и *низ* с помощью указательных пометок *над* и *под* пределом (горизонтальной чертой).

3. Пиктофонетический способ (形声 [Xíng shēng][Син шэн])

Иероглиф данной категории состоит из двух частей: одна часть передает значение смысловое, а другая часть указывает на одинаковое или похожее произношение иероглифа. Например, в иероглифе «樱 у́инг вишня» левая часть указывает принадлежность к дереву (значение связано с деревом), а правая часть указывает на его произношение – та-

¹ 鸣 [мин] – сначала приводится иероглифическая запись, далее в квадратных скобках приводим транскрипцию русскими буквами.

² Сюй Шэнь (58 г. н. э. – ок. 147 г. н. э.) – китайский филолог, лингвист, языковед эпохи империи Хань. Он является автором словаря «Шовэнь цзецзы», который считается основополагающей работой в области китайской лексикографии и занимает чрезвычайно важное место в истории китайского языкознания.

кое же, как и «嬰 yīng». Таким образом, данный иероглиф состоит из двух частей, причем первая часть связана со значением, а вторая – со звучанием.

Другой пример: нижняя часть слова «𪔗 chǐ зуб» указывает на форму зуба, а верхняя часть имеет похожее произношение (止 zhǐ).

4. Идеографический способ (会意 [Huì yì] [Хуэй и])

Иероглиф данной категории состоит из двух или более отдельных простых иероглифов, поэтому формы или значения простых иероглифов объединяются для выражения сложного значения иероглифа идеографической категории. Например, значение иероглифа «解 *разобрать; разделять*» выражается в разделении «牛 быка» и «角 рог» «刀 нож». Можно сказать, что значение слов *разобрать* и *разделять* основывается на сочетании перечисленных иероглифов, которые вместе создают картинку расчленения быка.

5. Видоизмененный способ (转注 [Zhuǎn zhù] [Чжуань чжу])

Исходный иероглиф изменяется некоторой чертой в написании (не ключа¹) и приобретает то же (или похожее) произношение, и оба иероглифа могут заменять друг друга. Например «老 Lǎo» путем изменения нижней части иероглифа превращается в «考 kǎo». В древности оба иероглифа имели одно и то же значение «старый».

6. Заимствованный способ (假借 [Jiǎ jiè] [Цзя цзе])

Употребление иероглифа, имеющего общее произношение, для называния явления, не имеющего собственного иероглифа (омофона или сходного по звучанию инициали или финали). Например, иероглиф «北 běi север» не существовал в древности, поэтому записывали *север* существовавшим в то время иероглифом с одинаковым произношением: «背 bèi спина».

По этим способам видно, что при изучении иероглифов важно найти логику составления иероглифа или выбора иероглифа для названия предмета или явления. В ходе анализа предлагается разделять иероглиф на части и разбирать значение каждой части, а потом собирать вместе значение иероглифа, причем иногда нужно учитывать произношение частей иероглифа.

Вышеуказанные способы образования иероглифов отражаются в словаре Сюй Шэнь «Шовэнь цзецзы»², который в переводе обозначает *объяснение простых и толкование сложных знаков*. В качестве примера проведем словарную статью иероглифа 背 [бэй] в словаре «Шовэнь цзецзы».



Первые два иероглифа в верхней строчке показывают изменение орфографии, за иероглифами стоит фонетическая транскрипция латиницей на пиньинь.

¹ Иероглифический ключ – это базовый элемент китайской письменности, который обладает особой смысловой значимостью и выступает мотиватором значений, т. е. иероглифы с одинаковыми ключами имеют общую сему (элемент значения) или общую формальную принадлежность. Например, ключ со значением *металл* имеет вид 钅. Этот ключ (钅) встречается в составе многих иероглифов, связанных с металлом, например: 铁 – железо, 铜 – медь, 银 – серебро, 钢 – сталь, 锌 – цинк, 铝 – алюминий и т. п. Удобная система ключей до сих пор используется в китайских словарях.

² «Шовэнь цзецзы» Сюй Шэнь – древнейший китайский этимологический словарь, который вышел в свет в сотом году нашей эры. Этот словарь является основополагающей работой в области китайской лексикографии и занимает чрезвычайно важное место в истории китайского языкознания.

В следующей строчке словарь приводит толкование иероглифа, способы образования и произношения. В нашем примере запись содержит следующее.

1) Толкование: иероглиф 背 [бэй] обозначает *спина*. Стоит обратить внимание на толкование в словаре «Шовэнь цзецзы», ведь приведенное в словаре значение является исконным, а не вторичным (переносным), это только первоначальное значение, так как «Шовэнь цзецзы» вышел в свет достаточно давно и изменение значения (его развитие, образование переносных значений) не было зафиксировано в нем.

2) Способ образования этого иероглифа – пиктофонетический. Иероглиф состоит из двух частей – верхней и нижней, верхняя часть 北 [бэй] указывает на произношение иероглифа, а нижняя часть 月 на значение, а именно передает принадлежность к части тела¹.

3) Произношение 背 [бэй] транскрибировали с помощью других иероглифов 补 [бу] и 妹 [мэй], от первого берут инициаль, а от второй – финаль с тоном (рифму).

Таким образом, в китайском языке иероглифологический анализ в основном опирается на графическую форму иероглифа, его способ образования, его звуко-смысловое соотношение и логику номинации понятия в иероглифе.

Анализ некоторых особенностей учений о происхождении слов в русской и китайской лингвистике в сопоставительном аспекте позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, русская этимология и китайская иероглифология изучают происхождение слов и их развитие, однако задачи этимологии русского и иероглифологии китайского языков немного отличаются, ведь русская этимология акцентирует внимание на сопоставлении общих слов в родственных языках и на проблеме реконструкции исходных форм древнейшего праязыка, а китайская иероглифология больше внимания уделяет способам образования иероглифов.

Во-вторых, в ходе этимологического анализа необходимо учитывать генетическую принадлежность языков: русский язык относится к индоевропейской языковой семье, которая достаточно хорошо исследована, установлены генетические связи русского языка с другими родственными языками. А в сино-тибетской языковой семье китайский раньше всех отделился от других языков, и между ними не так просто найти надежные связи для разработки этимологического анализа².

Соответственно, в-третьих, разница этимологических словарей русского и китайского языков также показывает, что этимологический анализ русского слова основан на сопоставлении русского языка с родственными языками, а китайский иероглифологический словарь более похож на исторический словарь, он не показывает связь с другими языками сино-тибетской семьи – это принципиальная разница между русским и китайским учением о происхождении слов.

Таким образом, мы сопоставили понятие происхождения слов в русской и китайской лингвистической традиции, проанализировали принцип проведения этимологического анализа в русском языке и иероглифологического анализа в китайском языке и установили, что этимология (в русском языке) и иероглифология (в китайском языке) как науки о происхождении слова имеют общие задачи в русской и китайской лингвистике, однако

¹ Ключ 月 образован от ключа 肉 (мясо) со значением части тела, например, 腿 – нога, 脑 – мозг, 肚 – живот, 肝 – печень и др.

² Китайский язык относится к сино-тибетской языковой семье (раньше называлась *китайско-тибетская семья*). Ученые пытаются представить теорию развития сино-тибетской семьи в виде родословного дерева, но до сих пор нет единого решения о родственных языках этой семьи, ученые спорят об особенностях дивергентного развития родственных языков в пределах этой семьи. Китайский язык развивается отдельно, изолированно от других языков, он почти не пересекается с языками других групп, при изучении и поиске локализации происхождения сино-тибетской семьи китайцы предложили искать источник происхождения китайского языка внутри континента.

метод этимологического анализа сильно отличается от иероглифологического метода. На наш взгляд, отличие заключается в большей ориентации китайской иероглифологии на древнейшую иероглифическую письменность. Этимологический анализ русских и иероглифологический анализ китайских слов помогают показать особенности формирования языковой картины мира, отраженной в этих языках.

ЛИТЕРАТУРА

Шелепова Л.И. Русская этимология, теория и практика. М.: Издательский центр «Академия», 2007. С. 64–78.

Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. 3-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1999. 624 с.

Ярцева В.Н. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М.: Большая российская энциклопедия, 1998. 687 с.

孙玮·中西词源学研究比较初探。《语文研究》2003. с. 18–22.

许慎(汉)撰;思履主编·说文解字详解。北京:中国华侨出版社,2014.1

在线新华字典 [Электронный ресурс]: <http://xh.5156edu.com/bs.html> (дата обращения: 17.12.2021).

Ли Лин

аспирантка кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания

филологический факультет

МГУ имени М.В. Ломоносова

Li Ling

Postgraduate student of Department of General and Comparative-Historical Linguistics

Faculty of Philology

Lomonosov Moscow State University

lily-lit@mail.ru

Т.А. Михайлова, М.М. Руссо
Латинское *alauda* ‘(хохлатый) жаворонок’:
когнаты и попытка мотивированной этимологии¹

Аннотация: Область исторического языкознания – происхождение орнитонимов, названий птиц – лежит на пересечении собственно языкознания, изучающего происхождение и семантическую мотивированность, а также диалектную дистрибуцию обозначений птиц, и зоологии, описывающей поведение птиц, которое часто мотивирует их обозначения. Большой интерес представляют так называемые «бродячие термины», также обозначающие птиц, но являющиеся часто немотивированными заимствованиями из языков контактного ареала. В центре исследования находятся обозначения жаворонка в латинском языке. К ним относятся греческие заимствования, перифрастические обозначения, а также галльское заимствование *alauda*, давшее затем рефлекс в во всех романских языках, за исключением балканского ареала. Авторы пытаются также предложить новую этимологию галльского термина, не имеющего параллелей в островных кельтских языках.

Ключевые слова: орнитонимы, бродячая лексика, галло-латинский ареал, романские языки, заимствования, этимология

T.A. Mikhailova, M.M. Russo
Latin *alauda* ‘(crested) lark’: Cognates and Supposed Etymology

Abstract: A study of so called ‘ornithonyms’, bird names, as an areal of historical linguistics lies on the cross-road of linguistics, who describes the etymology, dialect distribution and semantic motivation of terms, and zoology, who studies birds behavior and areal distribution as well as their names. So called ‘wandering terms’ are of special interest on this background. Their motivation often is dubious, being only a testimony of stable linguistic contacts. In the center of paper is the Latin name of lark – *alauda*, as well as other lark-nomination (Greek borrowing and periphrastic names). The authors give a new etymology of the Gaulish lexeme, that has now parallels in Insular Celtic languages.

Key words: ornithonyms, wandering words, Gallo-Latin areal, Roman languages, borrowings, etymology

Так называемые «орнитонимы» (обозначения птиц) как объект научного исследования странным образом оказываются лежащими на пересечении двух дисциплин: собственно лингвистики, изучающей этимологию и диалектную дистрибуцию соответствующих терминов, и орнитологии, области зоологии, изучающей традиционное поведение птиц и – попутно – их обозначения. Последнее представляется несколько странным: так, например, такой важный раздел исторического языкознания, как гидронимия лишь изредка обращается к данным геологии, в то время как в гидрологии, изучающей течения рек, собственно названия оказываются лишь необходимой для обозначений условностью.

Можно предположить, что странный интерес орнитологов к названиям птиц вызван их предположительной мотивированностью, которая позволяет дополнить существующие классификации, так сказать, извне, с учетом особенностей каждого семейства, рода

¹ Исследование поддержано Российским научным фондом (проект 22-28-00072 «Стратегии номинации в области базовой зоо- и антропонимической лексики в языках Евразии»).

и вида. И наоборот: название птицы уже само по себе должно, по идее, **дополнять** для зоолога данные о ее внешнем виде, поведении и других особенностях. Характерно, что вышедший в 1998 г. огромный двухтомный тезаурус орнитонимов, имеющий подзаголовок «Этимология европейской лексики сквозь призму парадигмы» [Desfayes 1998], был опубликован Швейцарским музеем естественной истории, а затем отрецензирован не в лингвистической периодике, но в известном зоологическом журнале «Аук» [Olson 2001]. Как пишет рецензент, «для мотивации обозначений птиц автор выделяет разделы, называемые им парадигмами. Они включают как хроматические особенности, так и акустические, кинетические и другие» [Olson 2001: 815].

Такой же принцип мотивированной классификации орнитонимов дается и в отечественной зоологии. Ср., например, в работе зоолога (в сокращенной форме): «Названия птиц можно условно поделить на некоторые подразделения по типу их происхождения: Видовое название птиц – словосочетание голосовых позывок, песен, звуков, которые они издают при токовании, в брачных песнях и отчасти в полете. ... Другой тип названий – производное от особенностей окраски и цвета в оперении в целом и отдельных частей тела. ... Размерность птицы... Черты поведения... Ряд видов в названии имеют указание на биотоп (местность), где они обитают» [Муравьев 2006: 107].

Все сказанное, безусловно, верно, однако орнитологи, как правило, не учитывают огромное количество окказиональных образований, фонетических изменений, делающих исходную основу практически неузнаваемой, но, главное, не пытаются объяснить феномен заимствований и – шире – бродячих лексем, среди которых орнитонимы занимают далеко не последнее место. К одному из подобных случаев можно отнести обозначение жаворонка в романском мире.

Создается впечатление (явно неверное, вызванное недостатком знаний авторов в данной области и невозможностью учета диалектных данных), что в латинском языке собственно автохтонное обозначение жаворонка не фиксируется вообще. По данным текстов и словарей можно найти перифрастические обозначения: *avis cassita* (букв. ‘птица в шлеме’, < *cassis*, см. [De Vaan 2008: 97]), *avis galerita* (‘птица в медном шлеме’), а также греческие заимствования – *korydos*, *korydalos* (см. [Arnott 2007: 229]). Возможно, по этой причине в латинском было широко заимствовано взятое из галльского языка обозначение хохлатого жаворонка – *alauda*, позднее ставшего базовым обозначением жаворонковых как семейства в научной классификации. Возможно, распространению термина послужил тот факт, что Цезарь создал в 56 г. до н. э. силами галлов легион, получивший название *alauda* из-за характерных крылышек на шлемах по обычаю галлов: «Он вдобавок к легионам, полученным от государства, набрал новые на собственный счет, в том числе один – из трансальпийских галлов (он носил галльское название “алауда”), которых он вооружил и обучил по римскому образцу» [Светоний 1988: 22].

Это был первый иностранный легион, который принимал участие в битвах на стороне Рима во многих регионах – Испании, в Белгике, в Тунисе. Лексема *alauda* встречается затем у Плиния [Nat. Hist. XI, 121], у медика Марцелла Эмпирика (V в.), который отмечает ее галльское происхождение (*avis galerita, quae gallice alauda dicitur*), а также у Григория Турского в «Истории франков» [IV, 31]: *aves coredalus quam alaudam uocamus*.

Писавший свою «Историю» в конце VI в., Григорий Турский был уже носителем ранней формы старофранцузского языка, и его слова «которую мы называем алауда» свидетельствуют о проникновении лексемы в диалект народной латыни, давшей затем продолжение во французском языке. В старофр. засвидетельствована форма *aloue, aloe > alouette* [Hatzfeld et Darmesteter 1964: 77]. Термин засвидетельствован в дальнейшем практически

во всех романских языках (см. [Meyer-Lübke 1911: 21]), за исключением зоны балканских диалектов – румынского и др. Отсутствие когнатов *alauda* в данном ареале позволяет более детально проследить тенденции стратегий номинации жаворонка в целом (что затем может послужить обоснованием для этимологизации галльской лексемы).

Румынский язык дает как общее обозначение жаворонка – *ciocârlie* ‘полевой жаворонок’ (*ciocârlie de câmp*), *ciocârlan* ‘хохлатый жаворонок’ (также *ciocârlan moțat* букв. ‘хохлатый’¹) [MDA2: эл. рес.]. Названия представляют собой производные от одного корня и отличаются грамматическим родом (*ciocârlie* – женский, *ciocârlan* – мужской). Можно предположить, что народная традиция рассматривала полевого и хохлатого жаворонков как самку и самца одного вида. Аналогом может служить ситуация с русскими орнитонимами *ворон* и *ворона*. У слова *ciocârlan* существовало также значение ‘самец полевого жаворонка’, в словаре 1929 г. оно указано как единственное (Șăineanu 1929: эл. рес.). В двух словарях встречается слово *ciocârlie* в отношении хохлатого жаворонка – в сочетании *ciocârlie moțată* [Seche 2002: эл. рес.; DRRS I: 441]. Восприятие полевого и хохлатого жаворонка как представителей одного вида встречается и у славян [Гура 1997: 635–636]. Но у славян эти виды не считаются самкой и самцом, а предполагается, что полевой жаворонок превращается в хохлатого в зависимости от возраста или времени года.

Этимология *ciocârlie* и *ciocârlan* неясна. В [DEX09: эл. рес.] *ciocârlie* и *ciocârlan* сопоставляют с *cioc* ‘клюв’, которое, в свою очередь, считается производным от звукоподражания *cioc*, имитирующего стук ударов по твердому материалу, но это сближение может иметь народно-этимологический характер. А. Чорэнеску [DER 194] предполагает, что *ciocârlan* происходит от **ciocîrlă* ‘изогнутый или спиральный объект’, сохранившегося в языке только в форме *cocîrlă* ‘кривой ствол дерева, виноградная лоза’ и связанного в свою очередь с *ciocă* ‘часть ткацкого станка’. Объясняется характерной траекторией полета (ср. «Во время быстрого полета он подвигается вперед большими дугами, при этом он то складывает крылья, то снова быстро трепещет ими» [Брэм 1893/1999, II: 266]). Чорэнеску не исключает сближения первой части слова *ciocârlan* с *cioc* в значении ‘хохол, пучок перьев’ (отмечено в [MDA2: эл. рес.] под номером 25).

Также Чорэнеску упоминает о попытках сопоставить слово с болг. *чеврулига* ‘жаворонок’ (в литературном болг. *чучулига*), серб. *чевръуга* / *čevrljuga* ‘жаворонок’, имеющими звукоподражательное происхождение. В [MDA2: эл. рес.] помимо серб. *чевръуга* / *čevrljuga* ‘жаворонок’ приводится также серб. *vrljak*, *ukurlji*, *ukurdeli*. В сербских источниках слово известно в вариантах *чевръуга*, *чевръугица*, *чепръуга*, *чиола*, *чичур*, *човръуга*, *чокрлица*, *шавръуга*, *шврљуга* [Орнитолошки речник 2016].

Обилие диалектных названий жаворонка в румынском языке позволяет проследить мотивационные схемы.

ПЕНИЕ

fluierea букв. ‘флейта, флуэр; детская дудочка, свисток’

țârloi (*țârloiu*, *țârlui*, *țârlug*) – фонетический вариант *țurloi* ‘труба, по которой течет вода; трубка волынки; большая берцовая кость’. Сюда же можно отнести названия, производящие пение птицы: *chiululuc*, *tiutiuroi*.

¹ Ср. русск. диал. *хохлатка*, обозначающее как хохлатого жаворонка, так и хохлатую синицу.

МЕСТООБИТАНИЕ

pământar ‘относящийся к земле, к полю’, *pasărea câmpului* ‘птица полей’ (Desfayes), ср. литературное *ciocârlie de câmp*. Сюда же, возможно, *păcurar* букв. ‘пастух’, *păcurar-mare* букв. ‘большой пастух’, так как летящих жаворонков могли наблюдать недалеко от пасущихся в поле животных.

ПОЛЕТ

ciocârlie-de-vânt ‘жаворонок ветра’ [Desfayes 1998: эл. реч.].

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ

Несколько названий восходят к словам со значениями ‘грубиян’, ‘задира’: *țopârlan* ‘грубый, задиристый человек’, *modîrlan* – диал. вариант к *modoran* ‘грубый человек’, *pasărea-turbată* [Desfayes 1998: эл. реч.] букв. ‘бешеная, злая птица’. В брачный период самцы жаворонков очень агрессивны. Сюда же, возможно, относится *ciocoi*, ср. *ciocoi* ‘неуважительный термин по отношению к выскочке, особенно в деревнях среди арендаторов’, расширительно ‘барин’; устар. ‘мальчик-слуга, живущий в доме’.

ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПРИЛЕТА

pasărea-plugarului букв. ‘птица пахаря’ и *pasărea-plugului* ‘птица плуга’ [Desfayes 1998: эл. реч.]. Весенний прилет жаворонков совпадал с началом пахоты или сева, отсюда названия хорв. *oračes* и *sijačes* т. е. ‘пахарь’ и ‘сеятель’ [Гура 1997: 638].

Примечательно отсутствие названий, мотивированных внешним обликом птицы.

Данный вывод представляется нам очень важным, так как позволяет реконструировать не только базовую стратегию номинации объекта в рамках этноса и/или ареала, но также преферентную ориентацию на обозначение **семейства**, называемого по одному его виду (или роду). Дальнейшее развитие данного подхода в изучении названий зоонимов в целом представляется перспективным.

Сопоставление собственно терминов показывает, что в латыни процесс номинации был ориентирован скорее на род «хохлатые жаворонки» (сейчас насчитывает 7 видов), тогда как в Балканском ареале эталонным жаворонком представал скорее жаворонок полевой (*alauda arvensis*). В русск., кстати, *жаворонок* возводится к о. с. **skver-n-*, т. е. родственно также *скворец* и *сверчок*), и его номинация ориентирована на звукоподражание.

Латинские обозначения птицы как «носящей шлем», «в медном шлеме» однозначно демонстрируют ориентацию на: а) облик объекта; б) на хохлатых жаворонков как обобщенное обозначение семейства. У Плиния данная особенность птицы описана очень подробно, причем он включен в группу птиц, у которых на голове находится нечто в роде хохолка: «...praeterea parvae avi quae, ab illo galerita appellata quondam, postea Gallico vocabulo etiam legion nomen dederat *alaudae* [Rackham 1967: 506] – «...есть же малые птицы, которые называются благодаря этой их особенности, к ним относится и хохлатый жаворонок, который на галльском наречии называется *алауда*, потому и легион получил такое название».

Лексема настойчиво маркируется латинскими авторами как имеющая галльское происхождение. В самом галльском она не фиксируется, но предположительно может сохраниться в топониме *Cantalauze* ‘пение жаворонка’. Кс. Деламапп отмечает, что термин не имеет надежной кельтской этимологии, но скорее всего может быть соотнесен с семантически расплывчатой основной **el-/ol-/al-*, часто встречающейся в обозначениях

животных с ориентацией на цвет: либо **al-* ‘белый’, либо **(p)el-* ‘серый, мутный’ (откуда др.-ирл. *alad* ‘грязный, серый’), однако предложенная реконструкция представляется сомнительной и ему самому [Delamarre 2003: 36]. Островные кельтские данные аналогов не дают (ср.-ирл. *fuiseog* с не-этимол. *f-*, к др.-ирл. *uisse* ‘милый, приятный’, т. е. букв. «милушка», шотл. *riabhag* ‘рябой’, валл. *ehedydd* ‘птичка’, при *ehediad* ‘полет’, в брет. – вытеснено франц. заимствованием). Очевидно, что ОК обозначение жаворонка реконструировано быть не может и мы можем лишь предложить возможную этимологию галльской лексемы (если не считать ее одним из бродячих оринтонимов).

Итак, в качестве предположительной этимологии, опираясь на метаописания птицы, содержащиеся как в латинских текстах, так и собственно в ее мотивированных обозначениях, мы предлагаем ОК основу **al-* (**h₂el-*) с общим значением ‘поднимать, поднимать(ся) вверх’ → ‘растить, кормить’ [LEIA-A: 57, IEW 26]. Суфф. *(a)-t-a* со знач. *part.perf. pass.* при заимствовании естественным образом озвончился, как это вообще часто происходило в галльских заимствованиях в лат. (либо **-nt-* > *-d-*). Ср. также ОК **alto-* ‘высота; скала, гора’ [Matasović 2009: 30]. Итак, галльский жаворонок – это птица, у которой на голове находится нечто приподнятое, т. е. хохлатка. По крайней мере, так ее видели римляне, для которых базовым видом для обозначения семейства были хохлатые жаворонки.

Теоретически, возможно другое объяснение, также в рамках кельтской этимологии: *алауда* – птица, которая поднимается вверх, а также поднимает, будит по утрам. В общем, невольно вспоминается Шекспир:

It is, it is: hie hence, be gone, away! / It is the lark that sings so out of tune...

Исследование носит скорее предварительный характер. Возможно, предложенная нами этимология – неверна. К тому же, нами не были в достаточной степени освещены и исследованы диалектные обозначения жаворонка в самой латыни, что сделать не просто из-за недостатка свидетельств. Но важным выводом представляется следующий: как и было отмечено в начале, орнитонимы лежат на пересечении собственно лингвистики и зоологии, и деривационная реконструкция без зоологического фона часто оказывается невозможной. Однако, как показал анализ румынских диалектов, модели номинации в любом случае оказываются ограниченными в своем наборе и легко поддающимися классификации.

ЛИТЕРАТУРА

- Брэм А.Э. Птицы: В 2 т. М.: АСТ, 1999.
- Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997.
- Милорадов Д., Павковић В., Пузовић С., Рашајски Ј. Орнитолошки речник: имена птица. Нови Сад: Матица српска, 2016.
- Муравьев И.В. Происхождение названий птиц // Известия ПГПУ. Естественные науки. 2006. № 1(5). С. 104–108.
- Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей / Пер. и прим. М.Л. Гаспарова. М.: Правда, 1988.
- Arnott W.G. Birds in the Ancient World. From A to Z. London: Routledge, 2007.
- De Vaan M. Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden-Boston: Brill, 2008.
- Delamarre X. Dictionnaire de la langue gauloise. Une approche linguistique du vieux-celtique continental. Paris: Edition errance. 2003.

- DER – Ciorănescu A. Dicționarul etimologic al limbii române / Ediție îngrijită și traducere din limba spaniolă, de T.Ș.Mehedinți și M. Popescu Marin. București, 2007.
- Desfrayes 1998 – *Desfrayes M.* A Thesaurus of Bird Names: Etymology of European Lexis Through Paradigms / Musée Cantonal d'Histoire Naturelle: In 2 vols. Sion, Switzerland, 1998. [Электронный ресурс]: <https://ewatlas.net/desfayes/> (дата обращения: 29.12.2021).
- DEX09 – Coteanu I., Mareș L. (eds.) Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) / Academia Română, Institutul de Lingvistică. București, 2009 (<https://dexonline.ro>) [Электронный ресурс]: <https://dexonline.ro> (дата обращения: 29.12.2021).
- DRRS – Borș A. (ed.) Dicționar Român – Rus sinonimizat / Academia de Științe a Republicii Moldova. Institutul de Lingvistica, 2005.
- Hatzfeld A., Darmesteter A. Dictionnaire general de la langue Française. Vol. 1. Paris: Delgrave, 1964.
- LEIA – Lexique étymologique de l'irlandais ancien de J. Vendryes, A – Paris; Dublin: DIAS, 1959.
- Matasović R. Etymological Dictionary of Proto-Celtic. Leiden: Brill, 2009.
- MDA2 – Coteanu I. (ed.) Micul dicționar academic, ediția a II-a / Academia Română, Institutul de Lingvistică. Editura Univers Enciclopedic. București, 2010 (<https://dexonline.ro>) [Электронный ресурс]: <https://dexonline.ro> (дата обращения: 29.12.2021).
- Olson S.L. (rew.) Desfray 1998 // *The Auk*. 2001. Vol. 118. № 3. P. 815–816.
- Rackham H. (ed.) Pliny. Natural History. Vol. III. London: William Heinemann LTD, 1967.
- Șăineanu L. Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a. București, 1929 (<https://dexonline.ro>) [Электронный ресурс]: <https://dexonline.ro> (дата обращения: 29.12.2021).
- Seche M., Seche L. Dicționar de sinonime. București, 2002. [Электронный ресурс]: <https://dexonline.ro> (дата обращения: 29.12.2021).

Татьяна Андреевна Михайлова
доктор филологических наук
МГУ имени М.В. Ломоносова
ведущий научный сотрудник
Институт языкознания РАН
tamih.msu@mail.ru

Tatyana Mikhailova
Doctor of Philology
Leading Researcher
Institute of Linguistics RAS
tamih.msu@mail.ru

Максим Михайлович Руссо
Информационно-аналитический портал «Полит.ру»
научный редактор
Maxim Russo
Information and Analytical Portal «Polit.ru»
Science Editor
maks.rousseau@gmail.com

А. Петросян

Хурро-урартский Тешшуб / Тейшеба и греческий Тесей

Аннотация: Имя хуррито-урартского бога грозы (хурр. Teššub, урарт. Teišeba) не имеет приемлемой этимологии на этих языках. Истоки его мифологического образа (бог с символами быка и топора) можно найти в наскальных рисунках, изображениях на каменных стелах вишапах и археологических артефактах Армении начиная со второй половины третьего тысячелетия до нашей эры. Исходя из этих данных предлагается армянская этимология этого теонима от индоевропейского *tek's- + *h₁ep- / *h₁op- «держатель топора». Это же имя, в форме Theseus, видимо, через Киликию и Левант, попало в греческую мифологию, став одним из ключевых фигур критского цикла.

Ключевые слова: индоевропейское языкознание, индоевропейская мифология, хурритская мифология, Тешуб, Тейшеба, бог грозы, Тесей

A. Petrosyan

Hurro-Urartian Tešub / Teisheba and Greek Theseus

Annotation: The name of the Hurrian-Urartian thunder god (Hurr. Teššub, Urart. Teišeba) has no acceptable etymology in these languages. The origins of his mythological image (a god with the symbols of a bull and an ax) can be found in rock paintings, images on stone steles of vishaps and archaeological artifacts of Armenia starting from the second half of the third millennium BC. Based on these data, the Armenian etymology of this theonym from the Indo-European *tek's- + *h₁ep- / *h₁op- «axe holder» is proposed. The same name, in the form of Theseus, apparently, through Cilicia and the Levant, got into Greek mythology, becoming one of the key figures of the Cretan cycle.

Key words: Indo-European linguistics, Indo-European mythology, Hurrian mythology, Teshub, Teisheba, thunder god, Theseus

Имя Тешуб (Tešub / Teššub, Tešup / Teššup) засвидетельствовано с III тыс. до н. э., но он стал главным богом хурритов, вероятно, позже, в первой половине II тыс. до н. э. Оно, как широко распространенный компонент хурритских теофорических личных имен, не прослеживается раньше XV–XIV вв. до н. э. (см. [Gelb 1944: 115; Вильгельм 1992: 88–89; Schwemer 2001: 445]).

Этот бог обычно считается хурритским по происхождению, и теофорические имена с его именем считаются указанием на их хурритское происхождение. Однако у Тешуба нет приемлемой хурритской этимологии (см., например: [Schwemer 2001: 444–445; Anm. 3698]). И. Гелб полагал, что его имя могло быть заимствовано из какого-то дохурритского языка [Gelb 1944: 30, 55, n. 50, 106–107], а Э. Ларош считал идеологию Тешуба чуждой хурритам [Laroche 1976: 96 слл.]. Имя знаменитого противника Тешуба Улликумми часто считается хурритским, но хурритская интерпретация этого имени, скорее всего, является «народной этимологией» [Laroche 1976–77: 279; Petrosyan 2016: 135].

Самой важной локальной формой Тешуба был бог грозы города Халаба (Алеппо) Адду, который в первые века II тыс. до н.э. был отождествлен с Тешубом. Его поклонение было распространено от Сирии до юга Армянского нагорья и хеттской Анатолии. Имя жены Тешуба (Ḫebat, Ḫibat, Ḫipatu, Ḫaratu, Ḫiba, Ḫira), очевидно, не хурритское, а семитское и означает «Халабская (богиня)» [Archi 1998: 42]. Тешуб, как и другие древние боги грозы Ближнего Востока, был вооружен топором / молотом или двойным топором –

лабрисом [Дьяконов 1990: 142]. Именно по этой причине статуэтка из Кармир Блура, держащая в одной руке топор, в другой – молот, отождествляется с Тейшебой [Пиотровский 1944: 277, 279; Амаякян 1990: 42, табл. 14].

С другой стороны, образ Тешуба очень близок к индоевропейскому богу грозы. Атрибутом германских, балтийских и славянских богов грозы был топор / молот ([Иванов, Топоров 1974: 93, 95]; ср. также ваджру индийского бога грозы Индры), который, очевидно, сопоставим с топором Тешуба. Индоевропейский бог грозы поражает горы / скалы и убивает своего соперника Змея, а Тешуб побеждает постоянно растущего каменного монстра Улликумми (об индоевропейском мифе о боге грозы см. [Иванов и Топоров 1974; Гамкрелидзе и Иванов 1984: 614–615]; о мифе об Улликумми в этом контексте [Топоров 1983: 123]). Притом имя последнего сопоставимо с корнем *wel-, реконструированным Ивановым и Топоровым для имени противника индоевропейского бога грозы [Petrosyan 2002: 81–83; 2016: 135].

Таким образом, существует вероятность, что Teš(š)ub / Teišeba имеет индоевропейское происхождение. В свете явной связи Тешуба с топором его имя можно сравнить с индоевропейским корнем *tek's- 'топор', 'творить, мастерить, особенно топором', ср. авест. taša-, др. верх. нем. dehsa 'топор', арм. (диалект) t'eš(i)k 'веретено' (для развития значения ср. др. верх. нем. dehsa 'топор' и ср. верх. нем. dēhse 'веретено'). *Tek's- характеризует также космогоническое действие бога-создателя, которого в контексте грозового мифа следует отождествлять с богом грозы. Именно в этой связи нужно рассмотреть и эпитет хайяского DU takšanna- «бога грозы takšanna-» [KUB XXVI: 39; IV: 32], который был давно этимологизирован из *tek's-; ср. хетт. takš- 'делать, готовить', инд. takšan- 'плотник', авест. tašan- 'творец, создатель' и т.д. ([Petrosyan 2002: 49; Петросян 2015: 86–87]; ср. [Джаукян 1964: 55]). Значит, индоевр. *tek's- был связан с богом грозы в двух разных традициях Армянского нагорья: Teššub и DU takšanna- представляют синхронные отражения *tek's- в двух разных индоевропейских языках (притом второе, видимо, арийское, см. [Petrosyan 2018a]). Для окончаний имени Teššub / Teišeba, ср. индоевр. *h1er- /*h1or- 'брат, держать', с развитием r > b (характерно для хурритского языка в этой позиции), с суффиксом -a характерным для урартских теонимов (о хуррито-урартских лабиальных, соответствии хурр. u с урарт. e и урарт. суффиксе -a см. соответственно [Хачикян 1985: 35–38, 43, 58]). Таким образом, Teššub / Teišeba можно интерпретировать как «держатель топора», ср. соответствующие эпитеты Индры – «обладателя ваджры»: vajrarāṇi, vajrabāhu, vajradhara, vajrahasta и т.д. (об этой этимологии Тешуба / Тейшебы см. [Petrosyan 2002: 49; 2012: 148–150]).

Имя Тейшебы следует читать Theis/šeb/wa (в армяно-урартских лексических и ономастических соответствиях урарт. t = t' (th), š = s/š, b = b/w, см., например: [Джаукян 1987: 430–431]). Два варианта этого теонима, похоже, сохранились в традиционных припевах фольклорных песен армян Муш-Сасунского региона: T'əšieb, hay T'əšieb «T'əšieb, эй T'əšieb» [Ишханян 1988: 46] и T'ešib, T'ešib, T'ešib, naye «Тешиб, Т'ешиб, Тешиб, смотри!» [Хачатрян Б/Д].

Этот теоним сопоставим с именем древнегреческого героя Тесея (Θησεύς 'Thēseus'), у которого нет общепринятой этимологии (ср. особенно вероятный урартский вариант Theis/šewa, см. [Petrosyan 2002: 49]). Тесей, видимо, также связан с топором. Его знаменитое приключение – поединок с Минотавром – происходит в лабиринте; ср. традиционную этимологию этого слова в связи лабрисом («дом лабриса», см., например: [Beekes 2010: 819]), которая, несмотря на сомнения, очевидна и вероятна. Как бы то ни было, независимо от этимологической связи, следы мифологемы «бык/топор в лабиринте»

выявляются не только западе Малой Азии, но и на Армянском нагорье. А имя амазонки Ἴππολύτη ('Hippolytē' «распрягающая коней»), жены Тесея, похоже, является народно-этимологическим переосмыслением имени Хебат / Хипа, жены Тешуба.

Если это так, то из какого индоевропейского языка были заимствованы имена Тейшебы и Тесея? Исходя из предложенной этимологии имени *tek's- + *ep- и учитывая клинописную форму Teišeba, греч. Thēseus, поздние армянские T'əšieb и T'ešib, для этого языка были характерны следующие переходы (в соответствующих позициях) *t > t' (= th), k's > š, *p > w, *e > ei/ē. Из всех индоевропейских языков все эти переходы свойственны только армянскому (об этих переходах в армянском см., например: [Kortlandt and Beekes 2003: 172, 173, 179, 201, 203, 205]). В этой этимологии нерегулярно только наличие b вместо v в армянских формах T'əšieb и T'ešib, но они обе искаженные формы, которые можно объяснить поздней трансформацией давно забытой оригинальной формы *T'ēšew (> *T'ešev) или влиянием хурро-урартского бетацизма (в регионе Муш-Сасуна – древней стране Шубрия почти все цари носили имена, связанные с Тешубом: Ligi-Tešub, Šerpi-Tešub, Kali-Tešub, Kili-Tešub, Šadi-Tešub, Hu-Tešub, Ik-Tešub, см. [Gelb 1944, 82–83; Петросян 2020: 48]). Двойной šš в клинописной форме Teššub/p, видимо, отражает промежуточное состояние изменения k's > š.

Как мог этот теоним быть заимствованным в греческом, притом в форме, близкой к урартскому Тейшебе, а не известной уже с третьего тысячелетия по всему древнему Ближнему Востоку Тешуба? Надо полагать, что где-то в пространстве и времени был контакт между греками и предками урартов или армян.

Мифы и герои минойского цикла о Крите связаны с Левантом. Зевс, обратившись в быка, похищает финикийскую царевну Европу и переносит ее на Крит. Их сын, царь Крита Минос, требует у афинян постоянной дани: чтобы они периодически, раз в девять лет, присылали юношей и девушек на съедение в критском лабиринте «наполовину человеку и наполовину быку» чудовищу Минотавр. Последний может рассматриваться как переосмысленная версия западносемитского аналога Тешшуба – бога грозы Ваала, который изображался человекоподобным, но назывался «быком» и которому приносились человеческие жертвоприношения [Иеремия 19.4–6]. Когда Минос приезжает в третий раз за данью, сын афинского царя Тесей сам отправляется с юношами и девушками на Крит, чтобы помериться силами с чудовищем. Там он убивает Минотавра в лабиринте, и этот миф о поединке кажется отголоском тех времен и событий, когда народ – носитель культа Тейшебы (предки урартов или армян) – появился в Сирии и прилегающих регионах, населенных западными семитами. Притом Тесей и Минотавр представляются олицетворениями народов – носителей их культа (хуррито-урарты или армяне и западные семиты). Это сопоставимо с армянскими мифами о Гайке и Араме, эпических трансформациях бога грозы, армянских двойниках Тешшуба, которые убивают своих противников – вавилонянина Бела и сирийца Баршама (т.е. вавилонского бога Бел-Мардука и сирийского бога Баал-Шамина, см. [Petrosyan 2002: 46 сл., 57–58; 2009: 160–161; Петросян 2020: 38–41, 61–64]).

Античная традиция относит Тесея приблизительно к XIII в. до н.э., к эпохе до Троянской войны. В Леванте и сопредельных регионах хурриты известны уже с половины III тыс. до н.э. Если имя Тейшебы кажется очевидным источником Тесея, то этого мы не можем сказать о его мифологеме: урартские мифы о Тейшебе неизвестны. А то, что известно о Тешубе, не очень похоже на миф о Тесее и Минотавре. И здесь нам приходят на помощь археологические данные.

В захоронениях Армении раннего железного века (XII–IX вв. до н.э.) часто встречается бронзовый предмет, названный Леоном Абрамяном «топоробыком» (taparac'ul, см.

[Абраамян 2004; Abrahamian 2021]). В центре композиции нечто похожее на голову быка, а также на (двойной) топор, окруженное выходящими из черенка топора или от шеи и тела быка двумя или тремя открытыми или закрытыми спереди кругами. Предвестники этой композиции выявляются в специфических памятниках Армянского нагорья эпохи среднего и позднего бронзового века (XIV–XIII вв. до н.э.) – каменных стелах вишапах. Эти памятники связаны с мифом о боге грозы и его сопернике Змее, да и *višar* – название мифического Змея-дракона, противника бога грозы (ср. эпитетет бога грозы и войны Вахагна – *višarak‘at* «вишапоборец», дословно «срывающий вишапов»). На многих из них изображена шкура быка, растянутая по длине стелы, где рога и ноги образуют нечто вроде кругов вокруг головы быка. Подобные изображения есть и на доисторических наскальных рисунках Армении [Петросян 2015; Petrosyan 2021].

Эта композиция может быть лучше всего объяснена именно мифом о Минотавре. Согласно подробному анализу Л. Абраамяна, круги «топоробыка», представляют лабиринт, голова быка в его центре – образ «быкоголового» Минотавра, а сходство головы быка с двойным топором отражает представление о лабиринте как о «доме лабриса».

Если это так, то в мифологии жителей центральных и северных территорий Армянского нагорья среднебронзового и раннежелезного веков (XIV–IX вв. до н.э.) бытовали мифы, сходные с мифами о Тесее, Минотавре и лабиринте. Территория современной Армении в эту эпоху входила в состав обширного племенного объединения, которое в урартских источниках называется Этиуни или Этиухи. Согласно нашей гипотезе, именно Этиуни была родиной древних армян во II и начале I тыс. до н.э., а Этиу-ни/хи «этиу-ская страна» – урартское название армян, восходящее к древней форме самоназвания *hay* (< *hat‘io*, см. [Petrosyan 2018: 158–174; Петросян 2021]). Это может объяснить, у кого и когда была заимствована в хурро-урартской традиции мифологема Тешуба / Тейшебы. А греки-ахейцы в нашем регионе – в Киликии – появляются в конце бронзового – начале железного веков [Gander 2012; Yakubovich 2015; Brice 2016]. Киликия всегда развивалась в контакте с Сирией, притом именно там, в Северной Сирии, на горе Хацци (современная Джебель Акра) и в заливе Искендерун локализуется ключевой эпизод мифа о Тешубе и Улликумми [Hoffner 1990: 55–56; Вильхельм 1992: 104]. Доходили ли в те времена урарты или армяне до Киликии или киликийские ахейцы до урартских или армянских земель, трудно сказать. Как бы то ни было, представляется вероятным, что именно эти ахейцы заимствовали и унесли образ и мифологему Тесея в Грецию, где она подверглась изменениям и была окончательно эллинизирована.

1



2



3



4



5



6

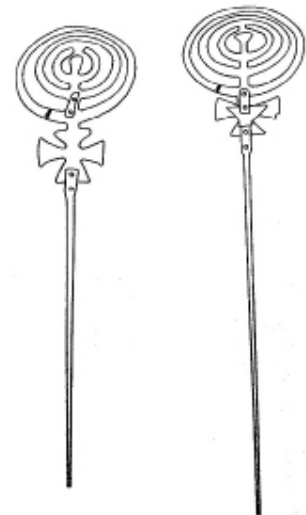
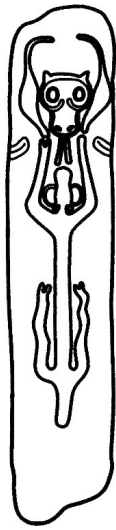


Table I. «Axe-Bulls»

- 1) After Avetisyan et al. 2018: Figure 3.B;
- 2) after Avetisyan et al. 2018: Figure 3.E;
- 3) after Avetisyan et al. 2018: Figure 3.O;
- 4) After Avetisyan et al. 2018: Figure 4.N;
- 5) after Avetisyan et al. 2018: Figure 15.D;
- 6) unpublished finds from the Horom nekropolis (courtesy of R.S. Badalyan and A.Ts Gevorgyan).

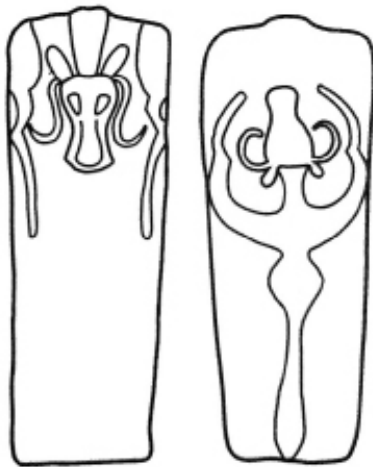
1



2



3



4

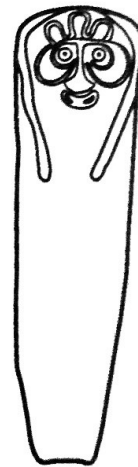


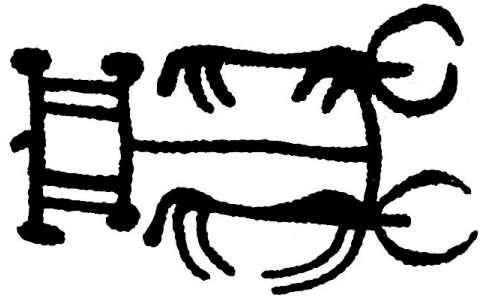
Table II.

- 1) After Petrosyan and Bobokhyan 2015: 11, Figure 1;
- 2) after Petrosyan and Bobokhyan 2015: 11, Figure 4;
- 3) after Petrosyan and Bobokhyan 2015: 11, Figure 5;
- 4) after Petrosyan and Bobokhyan 2015: 11, Figure 6.

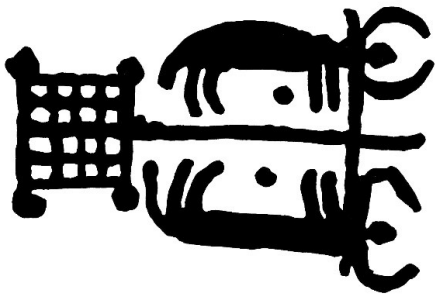
1



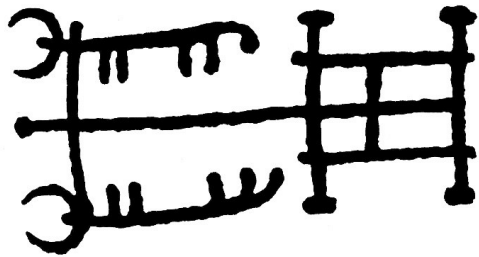
2



3



4



5



6



Table III.

- 1) After Martirosyan 1978: Table XXXIIIb.10;
- 2) after Karakhanyan and Safyan 1970: Table 5.1;
- 3) after Karakhanyan and Safyan 1970: Table 77;
- 4) after Karakhanyan and Safyan 1970: Table 156.2;
- 5) after Karakhanyan and Safyan 1970: Table 6.1;
- 6) after Karakhanyan and Safyan 1970: Table 63.4.

ЛИТЕРАТУРА

- Абраамян Л.А.* «Топоробык» в лабиринте: об интерпретации одной композиции бронзового века // Историко-культурное наследие Ширака: Материалы республиканской научной сессии. Гюмри: Ширакский центр арменоведческих исследований, 2004. С. 12–14.
- Амаякян С.Г.* Государственная религия Ванского царства. Ереван, 1990. (на арм. яз.)
- Вильгельм Г.* Древний народ хурриты. М., 1992.
- Гамкрелидзе Т. В., Иванов В.В.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.
- Джаукян Г.Б.* Хайасский язык и его отношение к индоевропейским языкам. Ереван, 1964.
- Джаукян Г.Б.* История армянского языка: дописьменный период. Ереван, 1987. (на арм. яз.)
- Дьяконов И.М.* Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990.
- Иванов В.В., Топоров В.Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
- Исиханян Р.А.* Вопросы происхождения и древнейшей истории армян. Ереван, 1988. (на арм. яз.)
- Капанцян Г.А.* Историко-лингвистические работы. Т. 1. Ереван, 1956.
- Петросян А.Е.* Древнейшие истоки армянского эпоса 2. Ереван, 2020. (на арм. яз.)
- Петросян А.Е.* Страна армян в начале I тыс. до н.э. // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2021. № 25–2. С. 1014–1031.
- Пиотровский Б.Б.* Урарту. Ереван, 1944.
- Сванидзе А.С.* Названия древневосточных богов в грузинских песнях // Вестник древней истории. 1937. № 1. С. 87–93.
- Сефербеков Р.И.* Верховные боги (громовержцы) народов Дагестана // Вестник института ИАЭ. 2005. № 4. С. 66–92.
- Топоров В.Н.* Русский Святогор, Славянское и балканское языкознание: проблемы языковых контактов. М., 1983. С. 89–126.
- Хачатрян Р. Б/Д.* Фонд Р. Хачатрян Института археологии и этнографии НАН Армении. № FRI: 3848.
- Хачикян М.Л.* Хурритский и урартский языки. Ереван, 1985.
- Abrahamian L.H.* ‘Axe-bull’: an Iron-Age iconic anagram. 2021 (in print).
- Archi A.* The Former History of Some Hurrian Gods. Acts of the 3rd International Congress of Hittitology. Çorum, Sept. 16–22. 1996. Ankara, 1998. P. 39–44.
- Bryce T.* The Land of Hiyawa (Que) Revisited // Anatolian Studies. 2016. Vol. 66. P. 67–79.
- Gander M.* Ahhiyawa – Hiyawa – Que: Gibt es Evidenz für die Anwesenheit von Griechen in Kilikien am Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit? // Studi Micenei ed Egeo-Anatolici. 2012. Vol. 54. P. 281–309.
- Gelb I.J.* Hurrians and Subareans. Chicago: Chicago University Press, 1944.
- Kortlandt F., Beekes R.* Armeniaca. Comparative Notes by Frederik Kortlandt with an Appendix on the Historical Phonology of Classical Armenian by R. Beekes. Ann Arbor, 2004.
- Laroche E.* Panthéon national et panthéons locaux chez les Hourrites // Orientalia. 1976. Vol. 45. P. 94–99.

- Martirosyan H.K.* Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon. Leiden, Boston: Brill, 2010.
- Petrosyan A.Y.* The Indo-European and Ancient Near Eastern Sources of the Armenian Epic // Journal of Indo-European Studies Monograph No 42. Washington DC: Institute for the Study of Man, 2002.
- Petrosyan A.Y.* Forefather Hayk in the Light of Comparative Mythology // Journal of Indo-European Studies. 2009. Vol. 37. P. 155–163.
- Petrosyan A.Y.* The Cities of Kumme, Kummanna and Their God Tešsub / Teišeba // M. Huld, K. Jones-Bley, D. Miller (eds.). Archaeology and Language: Indo-European Studies Presented to James P. Mallory. Journal of Indo-European Studies. Monograph 60. Washington DC, 2012. P. 141–156.
- Petrosyan A.* Indo-European *wel- in Armenian Mythology // Journal of Indo-European Studies. 2016. Vol. 44. №1–2. P. 129–146.
- Petrosyan A.Y.* Aryan Traces in the Onomastics of Hayasa // Iran and the Caucasus. 2018a. Vol. 22. № 2. P. 177–180.
- Petrosyan A.Y.* ‘Axe-bull’: Order of the Thunder God. 2021 (in print).
- Schwemer D.* Die Wettergottgestalten Mesopotamiens und Nordsyriens im Zeitalter der Keilschriftkulturen. Wiesbaden, 2001.
- Yakubovich I.S.* Phoenician and Luwian in Early Iron Age Cilicia // Anatolian Studies. 2015. Vol. 65. P. 35–53.

Армен Петросян
 доктор филологических наук
 главный научный сотрудник
 Институт археологии и этнографии
 НАН Республики Армения

Armen Petrosyan
 Doctor of Philology
 Chief Researcher
 Institute of Archeology and Ethnography
 NAS of the Republic of Armenia

И.А. Святополк-Четвертынский
Лево- и правосторонняя схема организации синтаксиса
относительного придаточного предложения в шумерском,
аккадском, санскрите, арабском и турецком языках

Аннотация: Демонстрируется четкая (санскрит) и перманентная (турецкий в одном из вариантов) левосторонняя организация синтаксиса относительного придаточного предложения по отношению к вершине – антецеденту и главному предложению. Левостороннее ветвление в санскрите выступает абсолютной нормой, а для турецкого представляется хорошим общетюркским вариантом синтаксиса ОПП. В то же время аккадский, арабский, шумерский и турецкий (другой вариант) языки являются приверженцами правосторонней организации. Арабский и санскрит благодаря падежной системе обладают большей вариативностью синтаксической организации, при этом арабский и турецкий языки вообще могут обходиться без релятивного союзного слова (в русском и санскрите является относительным местоимением) ‘который’.

Релятивизируемая позиция, или, иначе, мишень релятивизации, определяемая здесь как вершина-антецедент, может перемещаться в санскрите из главного предложения в собственно придаточное, оставляя в главном только свой местоименный маркер. Определенный / неопределенный статус вершины в арабском языке оказывает основополагающее влияние на употребление / опускание союзного слова «который». Развитые флективные литературные языки I тыс. н. э. – санскрит и арабский – располагают, несомненно, большей вариативностью как собственно в позиции мишени релятивизации – вершины, так и в плане употребления союзного слова ‘который’. Агглютинативные языки, будь то задействующий правостороннюю схему организации ОПП шумерский или современный турецкий язык с левосторонним ветвлением, всю релятивную конструкцию формально рассматривают как субстантивированное действие. Когда же турецкий язык использует правостороннюю схему организации ОПП, то прибегает к описательным конструкциям с использованием последовательности времен.

Ключевые слова: синтаксис, относительные придаточные предложения, левостороннее, правостороннее, мишень релятивизации, вершина, антецедент, вершина в функции подлежащего, вершина в функции дополнения, неопределенный и определенный статус вершины, субстантивация действия, относительные и коррелятивные местоимения, описательная конструкция, агглютинативный, флективный, шумерский, аккадский, санскрит, арабский, турецкий

I.A. Svyatopolk-Chetvertynski
Left-sided and Right-sided Organization of Relative Clause Syntax
in Sumerian, Akkadian, Sanskrit, Arabic and Turkish Languages

Abstract: Sanskrit always and Turkish (var. 1) display a distinct and clear left-sided organization of Relative Sentence syntax (RSS) corresponding to the antecedent and the Basic Sentence. Two Semitic languages (Akkadian and Arabic), Sumerian and Turkish (var. 2) follow the right-sided organization of RSS. Due to their developed case system, flexional Arabic and Sanskrit have much variability of syntax organization. Besides, Arabic and Turkish could manage without the relative pronoun ‘who / which / that’.

Relativized position or Relativization target defined here as the apex-antecedent could be moved in Sanskrit from the Basic Sentence to the Relative Sentence, while leaving only

the pronoun marker in the Basic Sentence. Definite or indefinite status of the apex-antecedent exerts fundamental influence upon the use / omission of the relative pronoun ‘who / which / that’.

Such archaic agglutinative language like Sumerian following the right-sided organization of RSS, regards the whole relative construction as the nominalized (substantivized) action. Just like that Turkish does with the left-sided organization of RSS. While following the right-sided organization of RSS, Turkish uses descriptive constructions exploring the sequence of tenses.

Key words: Syntax, relative clause, left-sided, right-sided, relativization target, apex, antecedent, apex in the function of subject, apex in the function of object, definite or indefinite status of the apex, nominalization (substantivation) of action, (cor-)relative pronouns, descriptive construction, agglutinative, flexional, Sumerian, Akkadian, Sanskrit, Arabic, Turkish

Относительные придаточные (ОПП, также **относительные предложения**) – такой тип придаточных предложений, к которому относятся, по меньшей мере, придаточные, обладающие следующими двумя свойствами.

1. Придаточное предложение модифицирует некоторое имя. Такое имя в сочетании с его зависимыми, входящими в главное предложение, называется **вершиной** (или антецедентом) относительного предложения.

2. Отношение между вершиной и придаточным таково, что участник, соответствующий вершине-антецеденте, задействован в ситуации, описываемой придаточным.

Так, в следующем предложении, содержащем относительное придаточное, вершиной-антецедентом является существительное *дом*, причем дом участвует в ситуации, описываемой придаточным:

(1) Вот дом, / *Который* построил Джек. (С.Я. Маршак)

Все придаточные, модифицирующие имена, называются **определятельными**.

Для описания особенностей относительных предложений в данном конкретном случае применяется синтаксическая терминология [Lytle 1974], структурирующая различные синтаксические позиции:

¹NP ²Rel.PdP ³Dat.PdP ⁴VP ⁵PdP [Lytle 1974: 97–98],

¹ NP	² Rel.PdP	³ Dat.PdP	⁴ VP	⁵ PdP
-----------------	----------------------	----------------------	-----------------	------------------

где ¹NP – подлежащее, ²Rel.PdP – само ОПП, ³Dat.PdP – не прямое дополнение (здесь адресат), ⁴VP – предикат, (выраженный здесь глаголом), ⁵PdP – Predicate Phrase (здесь прямое дополнение).

Схема организации относительного придаточного предложения по отношению к вершине-антецеденту в главном (коррелятивном) предложении вариативна в зависимости от рассматриваемых языков, а также в зависимости от того, в какой функции выступает вершина – подлежащего или прямого дополнения.

1. ВЕРШИНА-АНТЕЦЕДЕНТ В ФУНКЦИИ ПОДЛЕЖАЩЕГО

Пример взят из шумерских votивных (посвятительных) надписей, по стилю наиболее частотных для эпохи III Династии Ура (2111–2003 до н. э.) [Hayes 2000: 156–157]:

1.1. *Русский* ‘¹Правитель имя рек₁ (в дальнейшем: PN₁), ²который построил свой храм имя рек₂ (в дальнейшем: PN₂), ³для имя рек₃ (в дальнейшем: PN₃), своего бога ⁴построил ⁵свой храм’:

¹NP ²Rel.PdP ³Dat.PdP ⁴VP ⁵PdP [Lytle 1974].

Для относительных предложений, не относящихся к нерестриктивным относительным предложениям с местоимением *что*, в русском литературном языке непосредственное предшествование вершине-антецеденту практически невозможно – за исключением тех случаев, когда относительное придаточное находится в сочинительном отношении с другим препозитивным зависимым. Подобное исключение во многом обязано левосторонней позиции определения относительно определяемого в русском языке. Ср. пример (2) и его модификацию без прилагательного, предшествующего относительному придаточному (3), из [Лютикова 2009: 453]:

(2) Но это, увы, было, и длинный, сквозь *которого* видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо. (М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 1; 1929–1940)

(3) Но это, увы, было, и сквозь *которого* видно гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.

В русском языке для образования относительных предложений используются чаще всего относительные местоимения *который*, *кто* и другие, которые по большинству свойств сходны с существительными. Как следствие, относительные местоимения в большинстве случаев достаточно свободно допускают замену на вершинное существительное для образования независимого предложения, как в примерах (4)–(5).

(4) Вот дом, / *Который* построил Джек. (С.Я. Маршак)

(5) Джек построил дом.

1.2. Шумерский (правосторонняя схема организации ОПП)

Агглютинативный шумерский язык всю релятивную конструкцию «*который построил свой храм (имярек)*» формально рассматривает как субстантивированное действие, заключенное между относительным местоимением *lú* и форманта *-a*, который также может трактоваться как *-a(k)*, родительный падеж данного субстантивированного действия: «*который – построения своего храма (имярек)*».

³ PN ₃ diġir-ani(r)	¹ PN ₁ ensí	² lú é PN ₂ ĩndù-a	⁵ é-ani	⁴ munadù/
³ (Для) PN ₃ , своего бога	¹ PN ₁ , Правитель,	² который храм PN ₂ построил,	⁵ свой храм	⁴ построил'
³ Dat.PdP	¹ NP	² Rel.PdP	⁵ PdP	⁴ VP

Оригинальный текст (кирпич правителя Гудеа): ⁴Nin-ġiš-zid-da diġir-ra-ni Ġù-dé-a ensí Lagas^{ki} lú É -ninnu ⁴Nin-ġír-su-ka in-dù-a é Ġír-su^{ki}-ka-ni mu-na-dù [Hayes 2000: 108] ³(Для) Нингишзиды, своего бога, ¹Гудеа, Правитель (города) Лагаша, ²который храм Э-Нинну (бога) Нингирсу построил, ⁵свой храм (города) Гирсу ⁴построил'.

Дательный падеж в ³Dat.PdP не выписан, но присутствует в виде пространственного инфикса внутри глагольной цепочки ⁴VP: /-na-/. Употребление префикса /ĩ-/ в придаточном и префикса /mu-/ в главном обусловлено их противопоставлением в плане несения вторичной и первичной информации в дискурсе соответственно (терминология [Herman Vanstiphout 1985: 1–15]).

1.3. Аккадский (правосторонняя схема организации ОПП)

³ ana PN ₃ ili-šu	¹ PN ₁ iššaFkkum	² ša bīt PN ₂ ibnū	⁵ bīs-su	⁴ ibni/
³ (Для) PN ₃ , своего бога	¹ PN ₁ , Правитель,	² который храм PN ₂ построил,	⁵ свой храм	⁴ построил'
³ Dat.PdP	¹ NP	² Rel.PdP	⁵ PdP	⁴ VP

По синтаксической организации – калька шумерского синтаксиса, традиционный семитский порядок слов с глаголом в начале предложения утрачен, видимо, под культурным влиянием шумерского. Долгота на конце аккадского глагола *ibnū* – маркер относительного придаточного предложения (в определенной степени – калька шумерского субстантивного маркера -a).

Традиционный семитский синтаксис с глаголом в начале предложения представлен примером из арабского языка.

1.4. Арабский (правосторонняя схема организации ОПП)

⁴ banā	⁵ haykala-hu	³ li-PN ₃ ’ilahi-hi	¹ PN ₁ ’al-ḥākīmu	² ’al-laḏī banā haykala-hu PN ₂
‘Построил	‘свой храм	³ (для) PN ₃ , своего бога,	¹ PN ₁ , Правитель,	² который построил храм PN ₂ ’
⁴ VP	⁵ PdP	³ Dat.PdP	¹ NP	² Rel.PdP

1.5. Санскрит (левосторонняя схема организации ОПП)

Санскрит 1 вар.:

² yo mandiram PN ₂ nir.āmāpayat	¹ sa nṛpaḥ PN ₁	³ tasya devāya PN ₃	⁵ tasya mandiram	⁴ nir.āmāpayat
‘Который храм PN ₂ построил –	¹ тот Правитель PN ₁	³ (для) своего бога PN ₃ ,	⁵ свой храм	⁴ построил.’
² Rel.PdP	¹ NP	³ Dat.PdP	⁵ PdP	⁴ VP

1.6. Санскрит с перемещением вершины-антецедента в левостороннее ОПП

Санскрит 2 вар.:

² yo nṛpaḥ PN ₁ mandiram PN ₂ nir.āmāpayat	¹ sa	³ tasya devāya PN ₃	⁵ tasya mandiram	⁴ nir.āmāpayat
‘Который Правитель PN ₁ храм PN ₂ построил –	¹ тот	³ (для) своего бога PN ₃ ,	⁵ свой храм	⁴ построил.’
² Rel. NP PdP	¹ Prn.	³ Dat.PdP	⁵ PdP	⁴ VP

В русском языке вершина-антецедент ставится непосредственно перед относительным местоимением ‘который’. В санскрите антецедент (nṛpo из примера выше; paḥ из примера ниже) обычно ставится после относительного местоимения ‘который’ или коррелятивного местоимения sa(h) ‘он’: ‘который человек идет, он есть царь’: yo paḥ gacchati sa nṛpo ’sti или ‘который идет, этот человек есть царь’: yo gacchati sa naro nṛpo ’sti. Позиция дополнений в дательном (косвенном) и винительном (прямом) падежах может варьироваться, за исключением специфического синтаксиса глаголов говорения и передачи информации.

1.7. Турецкий (левосторонняя схема организации ОПП)

Турецкий 1 вар.:

² kendi tapınağı-nı PN ₂ kuran	¹ hükümdar PN ₁	³ kendi tanrı-sı PN ₃ için de	⁵ kendi tapınağı-nı	⁴ kurmuştur
‘Который храм PN ₂ построил –	¹ тот Правитель PN ₁	³ (для) своего бога PN ₃ ,	⁵ свой храм	⁴ построил.’
² Rel.PdP	¹ NP	³ Dat.PdP	⁵ PdP	⁴ VP

1.8. Турецкий (правосторонняя схема организации ОПП)

Турецкий 2 вар.:

³ kendi tanrı-sı PN ₃ için de	¹ hükümdar PN ₁	² kendi tapınağı-nı kurmuş	⁵ kendi tapınağı-nı	⁴ kurdu
³ (для) своего бога PN ₃	¹ тот Правитель PN ₁ ,	² Который храм PN ₂ построил,	⁵ свой храм	⁴ построил'
³ Dat.PdP	¹ NP	² Rel.PdP	⁵ PdP	⁴ VP

Здесь (1.8) турецкий прибегает к описательным конструкциям с использованием последовательности прошедших времен (²kurmuş – давнопрошедшее, ⁴kurdu – прошедшее простое).

2. ВЕРШИНА-АНТЕЦЕДЕНТ В ФУНКЦИИ ДОПОЛНЕНИЯ

Один из основных критериев, благодаря которым различаются относительные клаузы, – **релятивизируемая позиция**. Применение данного понятия основано на гипотезе, согласно которой с любым относительным предложением может быть сопоставлено независимое предложение, обозначающее ту же ситуацию, причем в некоторой синтаксической позиции в этом предложении будет выражен участник, соответствующий вершине. Данная позиция называется релятивизируемой позицией, или, другими словами, **мишенью релятивизации** [Холодилова 2021: эл. рес.].

Так, относительному придаточному из нижеприводимого примера (3) соответствует независимое предложение (4), в котором участник, соответствующий вершине относительного предложения (*ту разлуку*), выражен в позиции подлежащего (*разлука*). аким образом, в (3) релятивизируется позиция подлежащего.

(3) Я славлю ту разлуку, / *Что* связывает нас. (Б. Окуджава)

(4) Разлука связывает нас.

В *санскрите* относительные и коррелятивные местоимения согласуются в роде и числе с вершиной-антецедентом. Падеж вершины-антецедента зависит от ее роли в каждом предложении. Существуют два варианта построения стандартной фразы:

⁴ (1Я)	² вижу	³ человека,	⁴ который идет по дороге в город'
-------------------	-------------------	------------------------	--

2.1. Санскрит

1. Санскрит вар.:

⁴ yo nago paṭhe nagaram gacchati	³ taṃ	(¹ aham)	² paśyāmi
⁴ Который человек по дороге в город идет,	³ его	(¹ я)	–
⁴ Rel.PdP	³ PdP	(¹ NP)	² VP

2.2. Санскрит

Санскрит 2 вар.:

⁴ yo paṭhe nagaram gacchati	³ taṃ naraṃ	(¹ aham)	² paśyāmi
⁴ Который по дороге в город идет,	³ этого человека	(¹ я)	² вижу'
⁴ Rel.PdP	³ PdP	(¹ NP)	² VP

В первом случае коррелятивное личное местоимение taṃ (Akk.Sg. от saḥ) заменит в ³PdP вершину-антецедент nago ('человек'), который будет инкорпорирован в ОПП (⁴Rel. PdP).

2.3. Турецкий

⁴ yoldan şehre giden	³ insan-ı	(¹ ben)	² görüyorum
⁴ ‘Который по дороге в город идет,	³ этого человека	(¹ я)	² вижу’
⁴ Rel.PdP	³ PdP	(¹ NP)	² VP

В данном случае левосторонняя организация синтаксиса относительного придаточного предложения будет единственно возможной. Как и в санскрите, наличие личного местоимения в функции подлежащего (¹NP) будет необязательным.

2.4. Арабский (неопределенный статус вершины)

Арабский 1 вар.

² arā	³ rajulan	⁴ yadhahu 'ilā-l-madīna fī sabīli-hi
² Вижу	³ некоего человека	⁴ идет в город по дороге его.
² VP	³ PdP	⁴ Rel.PdP

Союзное слово 'al-laḏī ‘который’ отсутствует в связи с неопределенным статусом вершины-антецедента в функции дополнения, выполняющего в русском предложении функцию подлежащего. В арабском предложении это подлежащее скрыто в глаголе yadhahu (он).

2.5. Арабский (определенный статус вершины)

Арабский 2 вар.

² arā	³ r-rajula	⁴ 'al-laḏī yadhahu 'ilā-l-madīna fī sabīli-hi
² Вижу	³ того человека	⁴ который идет в город по дороге его
² VP	³ PdP	⁴ Rel.PdP

Союзное слово 'al-laḏī ‘который’ присутствует в связи с определенным статусом детерминанта-антецедента (человек с определенным артиклем *'al->'ar-) в функции дополнения. Оно согласуется с определяемым словом (вершиной-антецедентом) в роде, числе и падеже, как и в санскрите.

2.6. Арабский (определенный статус вершины)

Арабский 3 вар.

² arā	³ r-rajula	² ḏ-ḏāhiba 'ilā-l-madīna fī sabīli-hi
² Вижу	³ того человека,	⁴ идущего в город по дороге его.
² VP	³ PdP	⁴ Rel.PdP

Еще один способ избежания употребления союзного слова 'al-laḏī ‘который’ при определенном статусе детерминанта-антецедента (человек с определенным артиклем *'al->'ar-) в функции дополнения состоит в использовании (в данном случае действительного) причастия вместо финитного глагола.

Ср. использование страдательного причастия muktazzun ‘переполненный, набитый до отказа’ в современном литературном арабском [Brown 2019: 17]:

'intalaqa al-miṣ'ad	'al-muktazz fī-l-ḡānibi-l-ḡānūbī li-burḡi 'īfal	wa kāna muktazzan	bi-s-suyyāḥ
отправился лифт (Отис)	плотно набитый по южной опоре Эйфелевой Башни,	и был он плотно набитым	туристами.
The Otis elevator climbing	the south pillar of the Eiffel Tower	was overflowing	with tourists.

‘Плотно набитый лифт (Отис) отправился по южной опоре Эйфелевой Башни, плотно набитый туристами’. Ср. *английский* оригинал: The Otis elevator climbing the south pillar of the Eiffel Tower was overflowing with tourists [Brown 2009: 6].

3. Демонстрируется четкая (санскрит) и перманентная (турецкий в одном из вариантов) левосторонняя организация синтаксиса относительного придаточного предложения по отношению к вершине-антецеденту и главному предложению. Там, где булгаковское предложение «и длинный, сквозь *которого* видно гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо» выступает скорее исключением по части левостороннего ветвления в русском языке, подобное построение выступает в санскрите абсолютной нормой¹, а для турецкого представляется хорошим общетюркским вариантом синтаксиса ОПП. В то же время аккадский, арабский, шумерский и турецкий (другой вариант) языки являются приверженцами правосторонней организации. Арабский и санскрит благодаря падежной системе обладают большей вариативностью синтаксической организации, при этом арабский и турецкий языки вообще могут обходиться без релятивного союзного слова (в русском и санскрите является относительным местоимением) ‘который’.

Релятивизируемая позиция, или, иначе, **мишень релятивизации, определяемая здесь как вершина-антецедент, может перемещаться в санскрите из главного предложения в собственно придаточное, оставляя в главном только свой местоименный маркер.** Определенный / неопределенный статус вершины в арабском языке оказывает основополагающее влияние на употребление / опускание союзного слова «который». Развитые флективные литературные языки I тыс. н. э. – санскрит и арабский – располагают, несомненно, большей вариативностью как собственно в позиции **мишени релятивизации – вершины, так и в плане** употребления союзного слова ‘который’. Такой архаичный агглютинативный шумерский язык, задействующий правостороннюю схему организации ОПП, всю релятивную конструкцию формально рассматривает как субстантивированное действие [Hayes 2000: 157]. Современный же агглютинативный турецкий язык, когда задействует левостороннюю схему организации ОПП, в действительности также всю релятивную конструкцию рассматривает как субстантивированное действие. Когда турецкий язык использует правостороннюю схему организации ОПП, то прибегает к описательным конструкциям с использованием последовательности времен.

ЛИТЕРАТУРА

- Brown Dan.* The Lost Symbol: A Novel. New York: Doubleday, 2009. 511 p.
- Brown Dan.* Riwāyat 'Ar-ramz 'Al-mafqūd ('Потерянный Символ' на арабском языке). Arab Scientific Publishers, Inc. (USA), 2019. 479 p.
- Hayes John L.* Manual of Sumerian Grammar and Texts. 2nd ed. Malibu: Undena Publications, 2000. 471 p.
- Huehnergard John.* A Grammar of Akkadian, Scholars Press, Atlanta, 1st ed., 1997. 647 p.; 2nd ed. Eisenbrauns: Winona Lake, Indiana, 2005. XL + 648 p.
- Lytle Eldon G.* A Grammar of Subordinate Structures in English. The Hague, Paris: De Gruyter Mouton, 1974. 139 p.
- Reckendorf H.* Arabische Syntax. Heidelberg: Carl Winter, 1921. 567 p.
- Shopen Timothy (ed.) Language Typology and Syntactic Description. Vol. 2: Complex constructions. Cambridge University Press, 1994. 317 p.
- Speijer J.S.* Sanskrit Syntax. Leiden: Brill, 1886. 402 p.

¹ В этой связи имеет смысл упомянуть, что если для санскрита левосторонняя организация ОПП – это норма, то в авестийском языке (иранская группа) имеются многочисленные исключения для этой нормы (любезно благодарю К.Г. Красухина за данную ремарку).

- Soden Wolfram von.* Grundriss der akkadischen Grammatik, Analecta Orientalia 33 / Pontificum Institutum Biblicum. Roma, 1952. XXVII + 274 p + 51*p.
- Vanstiphout Herman L.J.* On the Verbal Prefix /i/ in Standard Sumerian // Revue d'Assyriologie-79. Paris, 1985. Vol. 79. № 1. P. 1–15.
- Кононов А.Н.* Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 569 с.
- Лютикова Е.А.* Относительные предложения с союзным словом *который*: общая характеристика и свойства передвижения // Корпусные исследования по русской грамматике. М.: ПРОБЕЛ-2000, 2009. С. 436–511.
- Тюрева Л.С.* Практическая грамматика арабского литературного языка. М.: Восточная книга, 2014. 448 с.
- Холодилова М.А.* Относительные придаточные // Русская корпусная грамматика, проект синхронного описания представительного фрагмента русской грамматики, выполненного на материале Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru) с использованием количественных методов корпусного анализа: http://rusgram.ru/Относительные_придаточные (дата обращения: 29.01.2022).

Игорь Анатольевич Святополк-Четвертынский
кандидат филологических наук
доцент
кафедры ОСИЯ
МГУ имени М.В. Ломоносова

Igor Svyatopolk-Chetvertynski
PhD
Associate Professor
Department of General and Comparative-Historical Linguistics
Faculty of Philology
Lomonosov Moscow State University
simurghus@gmail.com

О.М. Сергеева
Об одной гипотезе в истории изучения
исторической фонологии греческих спирантов

Аннотация: В статье обсуждается предположение, выдвинутое О.С. Широковым в публикации 1983 г., в соответствии с которым индоевропейское двухфонемное сочетание k'ц должно было иметь особый рефлекс (в виде спиранта) в греческом, армянском и анатолийских языках, что, по мысли автора, являло собой одну из эксклюзивных ареальных черт, объединявших перечисленные языки. Гипотеза наталкивается на серьезные затруднения методологического характера, однако до настоящего времени представляют интерес некоторые из греко-армянских лексических сближений, предложенных в статье.

Ключевые слова: индоевропейские языки, древнегреческий язык, армянский язык, анатолийские языки, историческая фонология, этимология, языки кентум, языки сатэм

O.M. Sergeeva
A Hypothesis in the History of Greek Historical Phonology Studies

Abstract: The paper deals with a suggestion put forward by O.S. Shirokov in a 1983 publication, wherein he argued that the PIE biphonemic cluster k'ц would yield a specific distinct outcome in Greek, Armenian and the Anatolian languages, which according to Shirokov would constitute an areal trait shared exclusively by the three language groups. The idea faces significant methodological objections, yet some of the specific Greek-Armenian etymological comparisons cited in the original publication seem to still be of interest as of today.

Key words: Indo-European, Ancient Greek, Armenian, Anatolian, historical phonology, etymology, centum languages, satem languages

В данном сообщении мы имеем целью привлечь внимание к оригинальной гипотезе О.С. Широкова, направленной на восстановление возможных родственных связей нескольких др.-греч. лексем на s- с трудной этимологией. Как известно, в древнегреческом языке начальное и интервокальное s имеет вторичное происхождение, поскольку исконное и.-е. *s в этих позициях утрачивалось, переходя в густое придыхание. Вторичное s, как правило, имеет своим источником преобразование глухих дентальных аффрикат, развившихся из сочетаний глухих дентальных с глайдами (i, u), либо упрощение иных групп согласных [Sihler 1995]; иные содержащие его лексеммы являются заимствованными и/или проблемными в этимологическом плане.

В статье [Широков 1983а: 143–144] выдвинуто предположение, что в ряде случаев греческое начальное / интервокальное s восходит к *sц < и.-е. *k'ц (двухфонемное, не тождественное /k^h/), которому соответствуют в арм. – š (при s – обычном рефлексе и.-е. «палатального» заднеязычного в армянском), в хетт. – šw. Гипотетический прототип *k'ц при этом следует отграничивать от *kц с велярным *k, развитие которого в др.-греч. сводится к закономерной утрате ц (καρπός ‘дым’: лит. kverti ‘чадить’, лат. varor ‘пар’). Ср. в этом же смысле [Широков 1983: 47–48]. Фактически предположение Широкова означает, что последовательно кентумные греческий и анатолийские языки в данной позиции об-наруживают рефлекс типа «сатем». Автор приводит следующие примеры:

1. греч. *safo*~ ‘качка, волнение на море’ – арм. *šal* ‘роса, изморось’, *šalem* ‘мешать, крутить’, *šalvem* ‘месить, разжижать’.

2. греч. *somfo*~ ‘болотистый’ (вернее, ‘напитывающийся водой, пористый’) – арм. *šamb* ‘подстилка из камыша’.

3. греч. *sefa*~ ‘свет, свечение’ – арм. *šoł* ‘сияние’.

Для всех трех случаев [Chantraine 1968–1980: 986, 995, 1030] и вслед за ним [Beekes 2010: 1303, 1318, 1372] отмечают, что имеющиеся попытки внешних сопоставлений для греческих лексем основаны на выведении начального *s* из **su*, хотя такое развитие не является регулярным для этой группы (регулярным было бы густое придыхание, ср. *ekurav* ‘свекровь’), поэтому ненадежны.

4. греч. *sialon* – арм. *šołik* ‘слюна’.

Названия слюны в разных и.-е. языках при поверхностном сходстве не являются полными формальными когнатами: ср. лат. *saliva*, рус. слюна и более раннее слина, лит. *seilės*. В данном случае интерес представляет именно соотношение начальных *s* : *š*.

5. греч. *aširako*~ ‘кузнечик’ – арм. *šršwin* ‘шорох’.

Арм. форма, скорее всего, представляет собой звукоподражание, поэтому не может считаться надежным материалом для сопоставлений.

Также без внешних соответствий Широковым включены в этот список греч. *siw*, *sittw* ‘издавать шипящий звук’ (обычно считающиеся звукоподражаниями, см. [Chantraine 1968–1980: 1003]: следует иметь в виду, что за графемами *z tt* стоят дентальные аффрикаты) и арм. *šuk* ‘блестящий’.

На основании выводимой из вышеперечисленных сопоставлений закономерности Широков реконструирует подлинный регулярный, по его мнению, ном. sing. греч. слова со значением ‘собака’ (< и.-е. **k'uōn*) как **suōn* (= арм. *šun*, хетт. иерогл. *švan*, *švana*-), объясняя наблюдаемое *kuwn* аналогией со стороны косвенных падежей (gen. *kunon* и т. д), хотя предполагать его вторичность едва ли имеет смысл при наличии таких внешних параллелей, как лит. *šuo*: *šunis*. Здесь интересно обратиться к данным [БЕР III: 170], где обсуждаются версии происхождения болг. куче ‘собака’ и родственных ему серб. диал. и польск. лексем: авторы БЕР растождествляют «кентумные» и «сатемные» ряды соответствий и.-е. слов для ‘собаки’, возводя *kuwn* вместе с гот. *hunds*, лат. *canis*, лит. *kucis*, *kuce*, латыш. *kuņa*, алб. *kuc* (слово детской речи), а также новогреч. *koutsidion* ‘щенок’ к и.-е. *(*s*)*ku*-, *(*s*)*kou*-, по мнению авторов БЕР, звукоподражательному (в связи с ним же следует упомянуть не приведенные в БЕР др.-греч. *skuōn*, *skuōx* ‘щенок’, *skuza* ‘сука в течке’, мифоним *Skuōla*, арм. *skund* ‘щенок, волчонок’, а также глагол *skuw*, *skudmainw* ‘огрызаться, быть угнетенным’, лит. *skundu* ‘страдаю’, латыш. *skundu* ‘являюсь недружелюбным’, при первоначальной семантике ‘глухо рычать’ (о собаке) [Chantraine 1968–1980: 1023 на правах гипотетического сближения]). Др.-инд. *śunas*, авест. *sūnō*, арм. *šun*, рус. сука при этом перечислены отдельным рядом в рамках альтернативного толкования. Такое растождествление, хотя и не подкрепляет каким-либо образом предположения Широкова об особом рефлексе *k'u*, перекликается с его попыткой рассмотреть *kuwn* как «нерегулярную» форму в свете своей гипотезы. Между тем традиционно тождество «кентумной» и «сатемной» серий не оспаривается, ср. [Pokorny 1959: 632–633]. См. также [Martirosyan 2008: 521] относительно возможности не отделять от этой же серии соответствий арм. *skund*.

Исходя из гипотезы Широкова, закономерным продолжением и.-е. формы со значением ‘лошадь’ в греческом языке должно было бы являться **esuos* (: хетт. *ašūwa*-, лик. *esbe*, арм. *eš* ‘осел’), следы которого он рассчитывает усмотреть в *aš-trabh* ‘седло (для вьючных жи-

вотных)», *aḡst andh** ‘верховой гонец’, *Phg-aso-*, *iḡno-* «лошак» (из **iḡno-*? но, согласно Шантрэну, толкования, основанные на форме *iḡno-*, «очевидным образом неприемлемы», так как она является поздней по отношению к *ginno-* [Chantraine 1968–1980: 225, 465]). Перечисленные лексемы, однако, имеют броский фонетический облик предположительных заимствований из сатемных, возможно, индоиранских языков (: пра-индоир. **asvas*) хотя бы в силу вокализма, следовательно, никак не могут выступать в качестве материала для суждений о фонологических процессах на собственно греческой почве. Лик. *esb-* соотносимо с фрак. именами собственными *Betespio-*, *Ouḡaspio-*, *Autesbis*, *Esbenus*; пример *aḡst andh**, кроме того, обнаруживает характерные для заимствованных лексем колебания: *aḡskandh**, *aḡsgandh** [Chantraine 1968–1980: 127] (с указанием на античные свидетельства о персидском происхождении слова); для *aḡstrabh* же не исключена связь с *aḡstrabh** ‘прямой, твердый, устойчивый’, т. е. ‘не поддающийся искривлению’ (: *strabon*) [ibid.: 129].

Пересмотр Широковым предыстории греческих слов для ‘собаки’ и ‘лошади’ очевидным образом обусловлен именно тем, что их и.-е. прототипы содержат в себе одни из наиболее известных примеров прото-и.-е. двухфонемного **k’u*, наблюдаемые греческие продолжения которого при традиционной трактовке исключают его гипотезу о **k’u > *su > *s* в греческом.

Кроме того, при рассмотрении гипотезы Широкова очевидны следующие принципиальные трудности.

- Сам факт рефлексии по сатемному типу лишь в одной уникальной позиции для последовательно кентумного языка, каким является древнегреческий, выглядит маловероятным и не имеет независимых от примеров Широкова материальных подтверждений либо иных известных прецедентов особого развития группы *k’u* в языках «кентум».
- Даже если допускать, что подобное развитие могло иметь место, не усматривается какого-либо объяснения, почему (прото)-греч. **su < *k’u* не совпало в своей трактовке с исконным и.-е. **su*; рассуждения насчет возможной относительной хронологии преобразования этих групп при чрезвычайно ограниченных фактических данных не могут носить иначе как полностью спекулятивный характер.

Таким образом, отмеченные О.С. Широковым соответствия, предположительно обнаруживающие соответствие греч. *s* : арм. *š*, при том что для греч. форм это начальное *s* этимологически проблемно, по-прежнему представляют интерес. Вместе с тем его попытка выявить стоящую за этими соответствиями фонологическую закономерность наталкивается на затруднения методологического порядка. Вопрос о наличии такой закономерности для пар *saḡo-* : *šaḡ*, *somfo-* : *šamb*, *seta-* : *šoḡ* и с оговорками *sialon* : *šolik* остается заслуживающим дальнейшего обсуждения. Речь, по-видимому, должна вестись именно о греко-армянских соответствиях, так как примеры особого развития группы *k’u* в анатолийских языках, которые при этом имели бы надежные соответствия в греческом и/или армянском с аналогичной особой рефлексией, среди рассмотренных данных отсутствуют.

ЛИТЕРАТУРА

- БЕР III – Български етимологичен речник. Т. III (крес 1 – минго 1). София: Издателство на БАН, 1986.
- Широков 1983 – Широков О.С. История греческого языка. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.

- Широков 1983а – *Широков О.С.* Греко-армянские лексические встречи и проблема малоазиатской прародины // Сравнительно-исторические и сопоставительно-типологические исследования. М.: Изд-во МГУ, 1983.
- Beekes 2010 – *Beekes Robert S.P.* Etymological Dictionary of Greek: In 2 vols. Leiden; Boston: Brill, 2010.
- Chantraine 1968–1980 – *Chantraine Pierre.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris: Éditions Klincksiek, 1968–1980.
- Martirosyan 2008 – *Martirosyan Hrach K.* Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon. Leiden; Boston: Brill, 2008.
- Pokorny 1959 – *Pokorny Julius.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München: Francke Verlag, 1959.
- Sihler 1995 – *Sihler Andrew L.* New Comparative Grammar of Greek and Latin. New York – Oxford: Oxford University Press, 1995.

Ольга Михайловна Сергеева
кандидат филологических наук
научный сотрудник
отдел этимологии и ономастики
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

Olga Sergeeva
PhD
Research Associate
Department of Etymology and Onomastics
Vinogradov Russian Language Institute RAS

О.В. Синёва

Август Шлейхер, судьба литовского языка и развитие литуанистики

Аннотация: Литуанистические труды А. Шлейхера значительно повлияли на судьбу литовского языка, вытесняемого в середине XIX в. немецким, русским и польским языками. Общественное самосознание в Литве стало крепнуть, получив научное обоснование ценности литовского языка. Литовские деятели просвещения осознали саму необходимость нормирования общенационального литовского языка, а также основные принципы: все правила соотносить с фактами в диалектах, в живом языке, что дало вектор развитию литуанистики. Не случайно литовские лингвисты неоднократно выражали мысль, что ни один народ, язык которого исследовал А. Шлейхер, не испытывает такого чувства благодарности, как литовцы.

Ключевые слова: литовский язык, индоевропеистика, ценностное отношение к языку

O.V. Siniova

August Schleicher, the Fate of the Lithuanian Language and the Development of Lithuanian Studies

Abstract: Lituanic studies of A. Schleicher significantly influenced the fate of the Lithuanian language, which was displaced by German, Russian and Polish languages during the years of this scientist's activity. Public consciousness in Lithuania began to strengthen, having received a scientific justification of the value of the Lithuanian language. Lithuanian enlightenment figures realized the very need to normalize the national Lithuanian language, as well as the basic principles – to correlate all the rules with facts in dialects, in a living language, which gave a vector to the development of Lituanic studies. So Lithuanian linguists have repeatedly expressed the idea that no nation whose language was studied by A. Schleicher feels such a sense of gratitude as the Lithuanians.

Key words: Lithuanian language, Indo-European studies, Lithuanian linguists, the value of the Lithuanian language

Великий вклад Августа Шлейхера (1821–1868) в развитие сравнительно-исторического языкознания был признан уже при его жизни, хотя некоторые положения его теории оспаривались старшими коллегами и учениками. Оказались судьбоносными для развития литовского языка и литуанистики труды, посвященные вопросам отношения славянских и литовского языка (сборник научных статей «Lituanica»; Vena, 1853); грамматика литовского языка «Handbuch der Litauischen Sprache. Grammatic»; J.G. Calve, Prag, 1856–1857», книга для чтения и словарь «Litauischen Sprache. Lesebuch und Glossar»¹; подготовленное ко второму изданию в Санкт-Петербурге в 1865 г. научное собрание произведений литовского поэта Кристийонаса Донелайтиса (Kristijonas Donelaitis: «Christian Donelaitis litauische Dichtungen mit Glossar») на запрещенной в те времена в Литве латинице, что было огромным прорывом для дальнейшей судьбы литовской письменности.

Литовские лингвисты XX – начала XXI в., в частности А. Сабаляускас, З. Зинкявичюс, в своих трудах неоднократно выражали мысль, что ни один народ, язык кото-

¹ Schleicher A. «Litauischen Sprache. Lesebuch und Glossar» – 63 песни, 40 сказок, 1500 произведений малых жанров (1857 г.); словарь составил помогал епископ Антанас Баранаускас (1835–1905 г.).

рого исследовал Шлейхер, не испытывает такого чувства благодарности, как литовцы [Sabaliauskas 2000 : 22], [Zinkevičius 1999]. Почему? Ведь основоположники сравнительно-исторического метода исследования языков Расмус Кристиан Раск (1787–1832), Якоб Гримм (1785–1863), Франц Бопп (1791–1867) задолго до активной научной деятельности Шлейхера проявляли внимание к архаике литовского языка, отмечая богатство его форм и близость к санскриту. Исследовательский интерес к происхождению литовского языка и балто-славянским связям проявлял основоположник баллистики в Пражском университете, старший друг Шлейхера, профессор František Ladislav Čelakovský (1799–1852), опубликовавший в 1827 г. перевод на чешский язык «Litewské Národnj Pjesně» [Iļa Lemeškin 2008: 68–69]. С профессором Ф. Челаковским и его трудами были знакомы деятели литовской культуры. Интересный факт: Ф. Челаковский также составил генеалогическое древо славянских языков, предположительно в период 1849–1852 гг., т. е. до поездки Шлейхера в Литву. Эта идея была развита Шлейхером в последующих работах [там же: 84]

Интерес Шлейхера к литовскому языку изначально родился в связи с целью реконструировать праславянский язык. Современный балтист Илья Лемешкин, исследуя архивы Карлова университета в Праге, также упоминает написанные на чешском языке работы Шлейхера «Z čeho povstaly položasky ъ, ь а со jim odpovídá v litevském jazyku» и «O jazyku litevském, zvláště ohledem na slovanský» (Časopis Českého Museum 27, Praha, 1853) [Iļa Lemeškin 2008: 65]. Очевидно, что изучение языка литовцев Восточной Пруссии (их называют *lietuvininkai* ‘лиетувининки’) с мая до ноября 1952 г., участие в обычных и праздничных событиях жизни крестьян-лиетувининков сместили акценты в научных интересах ученого, и он целенаправленно занимается баллистикой. В работе «Краткий очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индо-германских языков» Шлейхер приводит древо «коренного литовского» (термин «балтийские языки», предложенный Г. Нессельманом, закрепился только к началу XX в.) [Шлейхер 1865].

При этом прусский и литовский языки Шлейхер считал «равностепенными», т. е. развивающимися из одного источника, а латышский – ветвью литовского. Однако он делает ремарку о неизученности латышского и о значительном на него влиянии русского языка.

К пятидесятым годам XIX в., т. е. к тому времени, когда Шлейхер решил непосредственно в стране изучать литовский язык, уже известны «*Dictionarium trium linguarum*» («Словарь трех языков») К. Сирвидаса (K. Sirvydas) 1620 г. (восточный вариант письменного языка) и грамматика Креступа Сапунаса (K. Sapūnas) «*Compendium Grammaticae Lithvanicae*» 1643 г., издана в 1673 г. на латинском языке, «*Grammatica Litvanica*» Даниила Клейна 1653 г. – на латинском и немецком языках, книги священников-лютеран: трактат Михаэля Мерлина (Mörlin) «*Principium primarium in lingua Lithvanica*» 1706 г., грамматики Готфрида Остермейера 1791 г. и Кристиана Готлиба Милкуса 1800 г., горячо дискутировавших в 1781–1791 гг. о чистоте литовского языка, работы Людвиг Резы, например «*Geschichte der liththauischen Bibel*» и «*Philologisch-kritische Anmerkungen zu littauischen Bibel*» 1816 г., первая подготовленная им к изданию поэма «*Metai*» К. Донелайтиса в 1818 г., первое издание грамматики 1843–1849 гг. Фридриха Куршайтиса «*Beiträge zur Kunde der litauischen Sprache*» и «*Laut und Tonlehre der litauischen Sprache*» и др. Все эти труды написаны на немецком и латинском языках священниками, для которых литовский язык не был родным. Грамматики создавались для практических целей: применение их в практике перевода и для обучения богослужению на литовском языке, хотя в школах официально не обучали литовскому языку [Pupkis 2010: 18–28].

Кроме того, Шлейхер мог опираться не только на существующие грамматики и словари, но и на письменные источники родоначальника литовской письменности Марти-

на Мажвидаса, приглашенного в Восточную Пруссию для перевода на литовский язык «Katekizmo prasti žodžiai» («Простые слова Катехизиса», 1547) и «Giesmė šv. Ambraziejaus bei šv. Augustino, kurią vadina Te Deum laudamus» («Песнь святого Амвросия и св. Августина, которая называется “Тебя, Бога, хвалим”»), 1549), «Forma krikštymo» («Форма крещения», 1559), востребованные для богослужений в лютеранских, не католических, храмах. Мажвидас был носителем двух диалектов (мать – аукштайтка, а отец – жемайт): он родился в Титувеней, а это пограничье аукштайтского и жемайтского наречий (рис. 1).

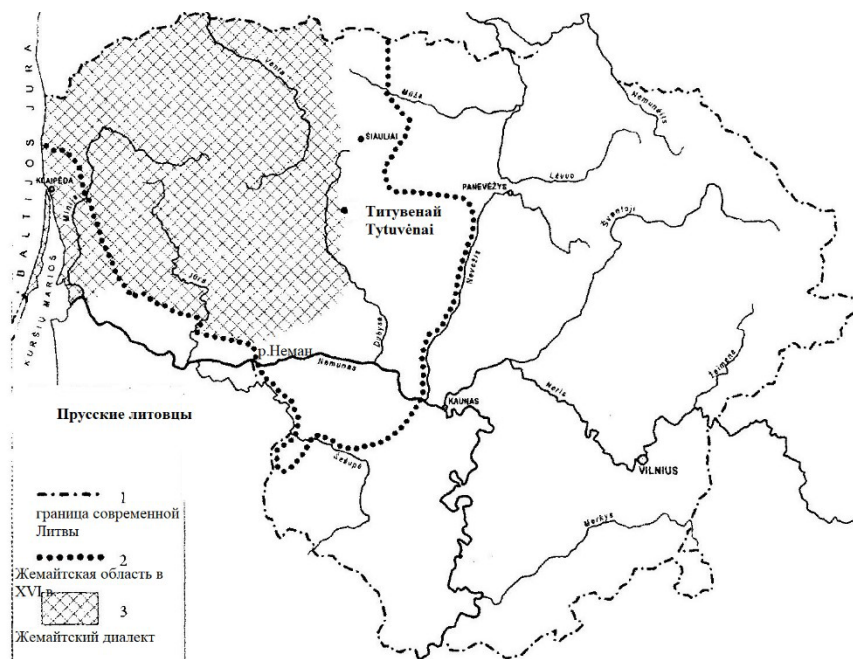
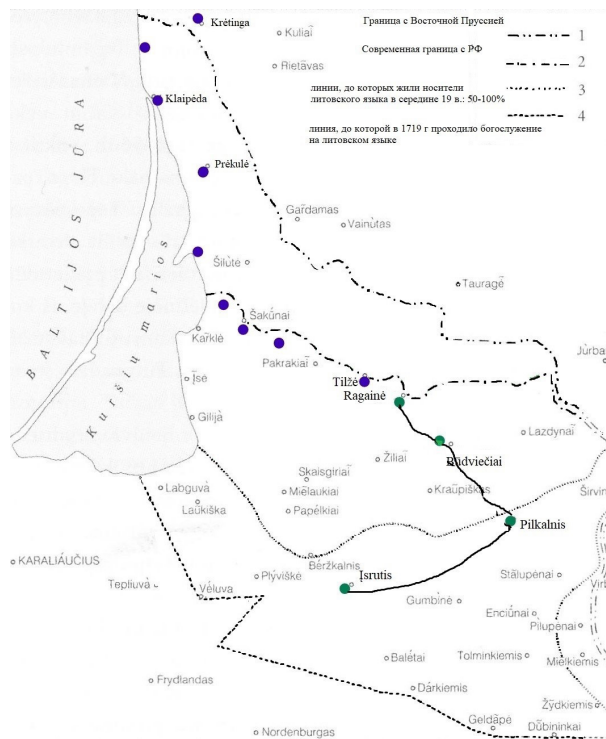


Рис 1. Территория распространения жемайтского диалекта в XVI веке, по исследованиям З. Зинкявичюса [Zinkevičius 2006:175]

В «Катехизисе...» 1547 г. встречаются элементы аукштайтского и жемайтского диалектов, отражающие фонетические и морфологические особенности. Конкурируя, жемайтские формы вытеснялись аукштайтскими. Кроме того, показательно, что уже тогда авторы стремились сделать тексты понятными для носителей литовского языка всей территории Литвы, поэтому стремились употреблять формы, общие для каждого наречия. [Zinkevičius 1999]. Историки литовской письменности Й. Палёнис и З. Зинкявичюс приводят такие примеры из текстов Мажвидаса: жемайтский п. sg. *tretes* – аукштайтский с аффрикатами *treczas* (в современном литовском *trečias*), монофтонги в жемайтском *milasis* ‘mielas – милый’, *tims* ‘tiems – тем’ и соответствующие им дифтонги в аукштайтском п. sg. *mielas*, а. sg. *diena* ‘день’ и проч. [Palionis 1995: 35–36]. Делается допущение, что аукштайтские элементы могли проникнуть в текст во время редактирования рукописи при подготовке к печати двоюродным братом Мажвидаса Вилентасом, Йонасом Бреткунасом. Особенно важно подчеркнуть, что во всех этих произведениях учитывается адресат, а следовательно, необходимость целенаправленно, методично и регулярно приближать употребление к единой норме так, чтобы текст был понятен любому читающему на литовском языке.

Несмотря на такое богатство источников о литовском языке, Шлейхер отправился изучать язык в Литву в мае 1852 г., с немалыми сложностями выхлопотав стипендию. Думается, что не просто волею судьбы после холодного приема Ф. Куршайтом в университете Кёнигсберга остается Шлейхер в краю прусских литовцев (их еще называют «белосермяжники») на территории Восточной Пруссии; он считал, что на основе жемайт-

тского начался процесс создания литовского письменного языка, хотя на самом деле были представлены три его варианта: письменный вариант прусских литовцев (западно-аукштайтский диалект), литовский язык вильнюсского края и жемайтский язык (интердиалект). Территория распространения до середины XIX в. литовского языка в Восточной Пруссии отмечена З. Зинкявичюсом на карте (рис. 2) [Zinkevičius 2006:192]



Литовский язык в XVIII-XIX в.в. в Прусской Литве [Zinkevičius 2006:192]

Рис. 2. Сплошной линией очерчен район, где А. Шлейхер собирал материал народной словесности, а точками – города, в которых он бывал.

также Тильзит (Tilžė, нем. Tilsit, современный Советск), Каукенай (Kaukėnai, нем. *Kaukehmen*, совр. Ясное), Краупишкес (Kraupisėkės, нем. *Kraupischken*, совр. Ульянов), Будвечай (Bėdviečiai, нем. *Budwethen*, совр. Маломожайский), Пилкальнис (Pilkalnis, нем. *Pillkallen*, современный Добровольск), Прекуле (Priekulė, нем. *Prėkuls*), Русне (Rusnė, нем. *Russ*), Йодкранте (Juodkrantė, нем. *Schwarzort*), Смалининкай (Smalininkai, нем. *Smalininken*), Клайпеду (Klaipėda, нем. *Memel*), Кретингу (Kretinga, нем. *Crottingen*) [Ija Lemeškin 2008], [К. Rekašiūtė 2021: эл. ресурс]. Важно и то, что Шлейхер, учитывая социолингвистическую ситуацию, относился к литовскому языку как к исчезающему из-за усиливающегося онемечивания, поэтому исследовал именно данный регион. Этот прусский вариант письменного литовского языка был описан в грамматике Ф. Куршайтиса, уделившего внимание даже акцентуации литовского языка, так как он считал, что литовский в скором времени станет мертвым. Ознакомившись с языковой ситуацией на месте, Шлейхер отмечает, что жемайтскому диалекту свойственны процессы, при которых страдает четкость и полнота окончаний, например оттяжка ударения с окончания на корень, а в западно-аукштайтском диалекте языковые законы проявляются последовательно [Шлейхер 1865: 11]. Свой выбор Шлейхер аргументирует лингвистическими данными, показывая сохранность архаичных и чистых форм (*älter und reiner form*). Поэтому в своей грамматике он фиксирует нормы произношения, обоснованные

Шлейхер останавливается недалеко от городка Ragainė (Рагайне; рис. 2) в доме литовского учителя Криступаса Куматайтиса (Kristupas Kūmataitis), который помогал ему не только освоиться на новом месте и изучать литовский язык, но и обрабатывать собранный фольклорный материал, в том числе после возвращения в Шлейхера в Прагу, куда он периодически выезжал.

Для Шлейхера, придерживающегося принципов сравнительно-исторического языкознания, было важно изучать живой язык, актуальны диалектные основы грамматики. Он указывает, что авторы литовских книг, изданных в России, – носители разных говоров. Шлейхер осознанно выбирает для изучения и научного исследования диалект прусских литовцев, говоры по линии Пилкальниса – Исруте (см. рис. 2), хотя жемайтский его также интересует. Точками обозначен район, где Шлейхер собирал материал народной словесности. По письмам из Литвы П. Шафарику, Я. Ганушу и др. установлено, что он посещал

западно-аукштайтской фонетикой, в § 77, § 107 особое внимание уделяет полным, не сократившимся морфологическим элементам, при этом опирается на факты живого народного языка; например, отмечает роль энклитика *-pi* для формы в аллативе *musūmpi* (зд. *акцентный знак Шлейхера*) по сравнению с gen. pl. *mūsu* ‘нас’, сохранность носовых, см. также местоименные формы прилагательных: *didýsis* ‘великий’, *geresnysis* ‘лучший’, ...*geróji* ‘хорошая’, *gražióji* ‘красивая’, оптатив в двух вариантах 1 л. ед. ч. *linksmintumbeis*, *linksmintūs* ‘мне веселиться (хорошо) бы’, 2. л., 3. л. ед. ч. *linksminteis* ‘тебе веселиться (хорошо) бы’, *linksmintais* ‘ему, ей веселиться (хорошо) бы’ [Schleicher Prag 1856: 173, 399]. Так, Шлейхер дает научное лингвистическое обоснование тому, что уже сложилось в силу социолингвистических и идеологических процессов: многие значимые культурные процессы зарождались в краю прусских литовцев (в конце XIX в. названного «Малая Литва») и распространялись на территории всей Литвы.

Показательно, что в последующих литовских грамматиках многие нормы употребления целенаправленно (!) сохраняются до наших дней.

Ученые, писатели, деятели культуры девятнадцатого века особенно трепетно сверяют свой выбор речевых средств с грамматикой Шлейхера. Грамматические описания немецкого ученого повлияли и на формирование языка периодических изданий «Aušra» (Auszra «Аушра» – «Заря») и «Varpas» («Варпас» – «Колокол»). Исследовав язык этих изданий, литовские ученые отмечают, что основой для языка газет стал южный поддиалект западно-аукштайтского диалекта литовского языка (диалект Занеманья, с 1867 г. называемый «сувалькийский»)¹. Сохраняются долгие гласные безударных окончаний *viľko*, *sãko*, *žẽmẽ*, *nẽšẽ*, *dũonos*, *žẽmẽs*, *ãkys*, *sũnũs*, в формах множественного числа дательного падежа *vũrams*, *bõboms*, *geriems...*, полная финаль в формах тв. п. *raĩkomis*, *akimìs* и др. формы, зафиксированные в грамматиках Шлейхера и Ф. Куршайтиса. Несколько факторов повлияли на выбор именно этого регионального варианта: 1) южный сувалькийский поддиалект близок южному поддиалекту прусских литовцев, описанному в грамматиках Шлейхера и Ф. Куршайтиса, 2) поддиалект был родным для многих авторов газеты, 3) газета издавалась на территории Малой Литвы и на нее оказывали влияние традиции местного письменного языка [Zinkevičius 1992: 89]. Особенности языка газеты «Varpas» – это более последовательное употребление многих форм; например, двойственного числа глаголов: *dirbdava*, *rãšota*, *sẽskiva*, *ateĩkita*, но в то же время формы инфинитива такие, как употребляются сувалками *dirbtiẽ*, *elgtiesi*, т. е. с долгим окончанием. Введены правила письма, например: графемы *č*, *š*, *ž* ... *v*, *ũ*, написание *j* после *p*, *b* в начале слов *pjauti*, *bjaurus*. Многие из утвержденных в «Варпасае» норм до сих пор действуют в литовском литературном языке [Zinkevičius 1992 : 89–90, 293].

На языковую деятельность авторов газеты «Варпас» огромное влияние оказал Йонас Яблонскис (1860–1930), ученик профессора Ф.Ф. Фортунатова. С научным сравнительно-историческим методом Шлейхера, а также вопросами формирования общенационального языка Й. Яблонскис познакомился на фортуновских семинарах, поступив после окончания Марьямпольской гимназии в 1881 г. в Московский университет. Вопросы развития литовского языка одинаково волновали ученика и учителя. Об этом свидетельствует активное участие Ф.Ф. Фортунатова в вопросах легализации литовской печати².

¹ Во время пребывания А. Шлейхера в Рагаине этот край (с 1837 г.) назывался «Августовская губерния»

² Ф.Ф. Фортунатов подготовил проект постановления об отмене запрета на литовскую печать. Президент Императорской Академии наук Великий князь Константин со своим сопроводительным письмом направляет проект Виленскому генерал-губернатору П.Д. Святополк-Мирскому, который был сторонником отмены запрета на литовскую печать. 24 апреля (7 мая) 1904 г. по постановлению Комитета министров царским указом запрет на литовское и жмудское письмо отменен, разрешено использовать латинский либо другой шрифт.

С опорой на методологию Московской научной школы строилась вся дальнейшая деятельность Й. Яблонскиса, а его эстафету принял Казимиерас Буга (1879–1924), ученик и коллега Яна Игнация Бодуэна де Куртене. Так в деятельности ученых-литуанистов сошлись принципы нескольких научных направлений. К. Буга работал в Петербургском университете, университетах Перми и Томска преподавал сравнительно-историческое языкознание, но при этом занимался составлением словаря литовского языка, исследовал исторические процессы в славянских и литовском языках, придерживался методологии Й. Яблонскиса, занимаясь кодификацией литовского языка. Так от литовских лингвистов об особенностях системы литовского языка, его истории и роли в индоевропеистике узнают студенты разных регионов России. Значительный вклад в развитие литуанистики внесли ученики Шлейхера Август Лескин и Иоган Шмит, опиравшиеся на факты литовского языка. А. Лескин описывает падежную систему склонения германских, славянских и балтийских языков, совместив теорию генеалогического древа и теорию волн И. Шмита, словообразование имен литовского языка, создает учебник литовского языка. Его лекции в Лейпцигском университете приезжают слушать из разных стран, в том числе литовцы, например писатель Йонас Билюнас в 1904 г. [Sabaliauskas 2000].

А. Пупкис утверждает, что влияние работ Ф. Куршайтиса, А. Шлейхера и его учеников на литовский общенациональный язык, на деятельность литовских ученых по нормированию литовского языка до сих пор как следует не исследовано. Но их труды проложили путь утверждению принципов научных исследований Й. Яблонскиса, К. Буги – все правила общенационального языка соотносить с фактами в диалектах, в живом языке, что также дало вектор научным исследованиям Й. Казлаускаса, В. Мажюлиса, З. Зинкявичюса, С. Каралюнаса, Д. Микулениене, Й. Палёниса, В. Амбразаса, А. Гирдяниса, Б. Стунджи и многих других литовских лингвистов в области истории, фонологии и акцентуации, лексикологии и грамматики литовского языка.

ЛИТЕРАТУРА

- Балтийские языки // Языки мира. М., 2006.
- Синёва О.В. Балтийская филология в МГУ имени М.В. Ломоносова // Вестник Московского университет. Серия 9. Филология. 2021. № 3.
- Шлейхер А. Краткий очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индо-германских языков. СПб., 1865: https://archive.org/details/libgen_00296044/page/n65/mode/2up?view=theater (дата обращения: 21.11.2021).
- Ambrazas V. Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.
- Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. T. 1. Vilnius, 2008.
- Lemeškin Ilja. Augustas Schleicheris ir Praha // Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. T. 1. Vilnius, 2008.
- Palionis J. Lietuvių rašomosios kalbos istorija. Vilnius, 1995.
- Pupkis A. Lietuvių kalbos normintojai ir puoselėtojai. Vilnius, 2010.
- Rekašiūtė K. Виртуальная выставка. Библиотеки Литовской АН имени Врублевских: <http://eparodos.mab.lt/s/nenusipelnes-musu-uzmarsties-augustas-sleicheris/page/parodos-objektai> (дата обращения: 21.11.2021).
- Sabaliauskas A. Žodžiai atgyja. Vilnius, 2000.
- Schleicher A. Litauische Grammatic // Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. T. 1. Vilnius, 2008.

Zinkevičius Z. Lietuvių tarmių kilmė. Vilnius: LKI, 2006.

Zinkevičius Z. Bendrinės kalbos iškilimas. Vilnius: Mokslas, 1992.

Ольга Владимировна Синёва
кандидат филологических наук
доцент
кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания
филологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова

Olga Siniova
PhD
Associate Professor
Department of General and Comparative-Historical Linguistics
Faculty of Philology
Lomonosov Moscow State University
baltistika-mgu@yandex.ru

А.А. Трофимов
Наблюдения над ударением в пушту, парачи и ормури

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы ударения в трех иранских языках, сохраняющих следы праиранского разноместного акцента. Для пушту рассматриваются **a*-основы. Делается вывод, что закономерным рефлексом основ на **-á* в пушту являются слова с потерей конечного согласного и неотличимые по форме от продолжающих баритонированные основы праиранского, как *məṛ* ‘мертвый’ < **mrtá*, *sur* ‘красный’ < **suxrǎ-* и т. д. Ударение в ормури напоминает ударение в пушту тем, что окситонезу утратили сначала **a*-основы, а основы других типов могут ее удерживать. В парачи изначальное распределение основ с ударным и безударным формантом *-ǎn* в унаследованных основах можно свести к древней дистрибуции баритонированных и окситонированных основ.

Ключевые слова: ударение, окситонеза, баритонеза, праиранский, пушту, парачи, ормури

A.A. Trofimov
Observations on the Stress in Pashto, Parachi and Ormuri

Abstract: In this article I concern the problems of stress in three Iranian languages retaining traces of the Proto-Iranian mobile stress. In Pashto **a*-stems are considered. I conclude that the regular outcome in Pashto is a stem with the loss of the final consonant, indistinguishable in form from the stems continuing Proto-Iranian barytona, such as *məṛ* ‘dead’ < **mrtá*-, *sur* ‘red’ < **suxrǎ-*, etc. Stress in Ormuri resembles stress in Pashto because oxytonesis was initially lost in **a*-stems, other stems can retain the original place of stress. In Parachi the original distribution of stems with stressed and unstressed formant *-ǎn* in inherited stems can be explained as inherited distribution of barytone and oxytone stems.

Key words: stress, oxytona, barytona, Proto-Iranian, Pashto, Parachi, Ormuri

Как было установлено благодаря многочисленным исследованиям, наиболее важными из которых являются работы Г. Моргенстьерне [Morgenstierne 1942; 1973; 1983], В.А. Дыбо [Дыбо 1972; 1974; 1989] и В.А. Ефимова [Ефимов 1979; 1985; 1986; 1997], рефлекс праиранского ударения наиболее хорошо сохраняются в ряде восточноиранских языков, а именно в афганском (пушту), йидга и мунджанском, в ормури и парачи.

Наиболее хорошо сохраняется система ударения в пушту: исторически двусложные и трехсложные словоформы делятся на oxytona и barytona в соответствии с делением, наблюдаемым в ведийском и других индоевропейских языках, а производные слова, прежде всего на **-ka*, имеют систему акцентровки «по контрасту»: произошедшие от баритонированных основ становятся окситонированными и наоборот. Подробно эта система описана для именных форм в статье [Дыбо 1974] для глагольных – во второй ее части [Дыбо 1989].

Несмотря на сохранение места ударения в целом в ряде именных и глагольных основ и производных именах, базовые двусложные окситонированные основы в пушту, ормури и парачи обычно утрачивают первоначальную окситонезу. Относительно ормури ср. описание [Ефимов 1985: 49–50; Ефимов 1986: 127].

В данной статье мы рассмотрим эти случаи и сделаем определенные выводы относительно развития системы акцентуации в этих трех языках.

I. ПУШТУ. РЕФЛЕКСЫ ИМЕННЫХ ОКСИТОНИРОВАННЫХ *a-ОСНОВ

В статье В.А. Дыбо 1974 г. приведены многочисленные в целом убедительные реконструкции большого количества исторически окситонированных основ пушту с сохранением места первоначального ударения: в последовательности изложения исследователя это 15 *a*-основ женского рода, наследующих праиранским **ā*-основам, 14 прилагательных, в которых окситонеза обычно устанавливается по форме женского рода, как в *mār*, f. *mārā* ‘мертвый, умерший’ < **mrtā*-, 15 имен на зваракай (ə), 4 имени на *-er* и *-en* и, наконец, 9 числительных, итого 58 основ [Дыбо 1974: 80–85].

Если говорить о прилагательных, то стандартна ситуация, когда окситонеза сохраняется только в женском роде, а в мужском прилагательное неотличимо от баритонированного. Исключений всего три: пшт. *spērā*, f. *spērā* ‘светло-серый, мутный, загрязненный’ < **šwaitrā*-, пшт. *ūdā*, f. *ūdā* ‘спящий, сонный, вялый’ < **hwafīā*- и пшт. *tārā*, f. *tārā* ‘острый, колкий’ < **tiyrā*-. Неясно, почему именно эти прилагательные имеют формы мужского рода на зваракай, совпадающие с косвенной основой и формой множественного числа; можно предположить, что они по каким-то причинам чаще употреблялись в подобных формах, но подобную гипотезу невозможно подкрепить. Другая возможность объяснения – наличие неожиданного суффикса **-iya*- [NEVP: 7].

Практически все имена на зваракай, отмеченные В.А. Дыбо, содержат суффиксы **i*, (*i*)*ya* или **u*, **wa*, имеют дублиеты в женском роде или являются pl. tantum [Дыбо 1974: 82–83].

Имена с суффиксом **i*, *(*i*)*ya*:

lewā ‘волк’ < **daiwya*-, ср. др.-инд. *devyām* п. ‘божественное достоинство’;

ōwrā ‘облако’ < **abryā*- (хотя отсутствуют следы палатализации гласного, [NEVP: 10]);

trā ~ *tārā* ‘дядя по отцу’ < **pitrv(i)yā*-, ср. др.-инд. *pitrvyā*- ‘дядя по отцу’;

wrārā ‘племянник (сын брата)’ < **brātrv(i)yā*-, ср. др.-инд. *brātrvyā*- ‘племянник’;

ūmā ‘эфедра, хвойник’ < **haumyā*-, ср. др.-инд. *somyā*- ‘относящийся к коме, связанный с сомой’;

čārā ‘нож, короткий меч, бритва’ < **kartī*- или **kartyā*-, ср. др.-инд. *kṛtī*- ‘род кинжала, нож мясника’;

rāšā ‘груда зерна, хлеб (на току); продукты, продовольствие’ < **rāśī*-, ср. др.-инд. **rāśī*- ‘куча, груда, множество, масса’;

zrā ‘сердце, душа’ < **zrdyā*- < **zrdīya*-, ср. греч. *καρδία* ‘сердце’.

Имена с суффиксом **u*, **wa*:

psā ‘мелкая овца’ < **paśū*-, ср. др.-инд. *paśū*- ‘мелкий скот, жертвенное животное, скотина’;

wāzā ‘сажень’ < **bāzū*- или **baźwā*-, ср. др.-инд. *bahū*- ‘рука, предплечье; мера длины’.

Имена, имеющие дублиеты женского рода или pl. tantum:

murā, *mārā* ‘птица (часто хищная)’ < **mrgā*-, ср. др.-инд. *mrgā*- ‘дикое животное, птица; дичь; газель, антилопа, олень и др.’. В диалекте вазири есть форма *marā*- f. ‘небольшая птица’ < **mrgā*-. Более того, в пушту распространены производные с незакономерной окситонезой *mārāyū*, *marāyū* ‘птичка, пташка’ и уменьшит. *mārāyū* ‘пташка’ < **mrgāka*- < *mrgākā*- и **mrgākā*- < **mrgākā*- [NEVP: 51; ЭСИЯ-5: 381]. Орм. лог. *morgā*, кан. *mīrgā* ‘воробей, пташка’ могут быть рефлексамии **mrgā*-, особенно если учесть, что в канигурамском это слово женского рода [Ефимов 1986: 127];

bāṇā ‘ресница, ресницы’ < **parṇā*-, ср. др.-инд. *parṇā*- ‘крыло, перо; лист; оперенные стрелы’, наряду с *bāṇā* ‘перо’ и *bāṇā* ‘ресница’ [NEVP: 15]; кроме того, может быть pl. tantum;

γārmá m. ‘жара, зной; жар солнца’, в отдельных диалектах ‘солнце’ < **garmá-*, ср. др.-инд. *gharmá-* ‘солнечное тепло, жар; жаркое время года, день’, греч. *θερμός* ‘теплый, горячий, жаркий’. Наряду с основой мужского рода есть *γārmá* f. ‘полдень’ [NEVP: 32], кроме того, может быть pl. tantum;

mazgá, māgzá pl. m. ‘костный мозг, мозг’ < **mazgá(n)-*, ср. др.-инд. *majján-* m. ‘костный мозг’ и *majjā-* f. ‘костный мозг; середина растения’. Pl. tantum, ср. рус. *мозги*;

šaudá, šōdā pl. m. ‘молоко’ < **xšwiptá-*, ср. др.-инд. *kṣiptá-* ‘брошенный, выгнанный’. Имеет дублет в женском роде, *šōdā* f. ‘молоко’ и может быть pl. tantum.

Только числительное ‘семь’ как архаичный пласт лексики сохраняет окситонезу и имеет окончание *-á* < **-á*: *ōwá* ‘семь’ < **haftá-* или **haptá-* < и.-е. *septim*, ср. др.-инд. *saptá* ‘семь’, греч. *ἑπτά* ‘семь’. При этом нельзя исключить влияние *atá* ‘восемь’ < **aštá* с долготным исходом, как в др.-инд. *aṣṭá-*, греч. *ὀκτώ* ‘восемь’ (или < **aštá-*, ср. авест. *ašta-* ‘8’). С другой стороны, в пушту есть форма *at* ‘восемь’, поэтому первоначальный облик самого числительного ‘8’ установить проблематично (более вероятно, что зваракай в данном случае появился в числительном ‘восемь’ под влиянием предыдущего ‘семь’ из-за незакономерности рефлекса).

Рассмотрение прилагательных и других основ приводит к выводу, что закономерным рефлексом основ на **-á* в пушту являются слова с потерей конечного согласного и неотличимые по форме от продолжающих баритонированные основы праиранского, как *mər* ‘мертвый’ < **mṛtá-*, *sur* ‘красный’ < **suxrá-* и т. д. Именно этим обстоятельством объясняются некоторые мнимые отклонения от исторической окситонезы.

Можно привести следующие примеры.

1. *bəl* ‘второй’ < **dwitá-* или **dwityá-* при f. *biya*, ср. др.-инд. *dvitá-* ‘имя божества’, буквально ‘второй’. Несмотря на предположение о том, что само это образование может быть вторичным по отношению к *tritá-* ‘имя божества’, буквально ‘третий’ [Emmerick 1992: 179], окситонеза для праиранского **dwitá-* выглядит вероятной. Если *bəl* все же является результатом развития **dwityá-*, то ударение поддерживается стандартным др.-инд. *dwitīya* ‘второй’. Согласно мнению Дж. Ченга, праформа **dwitīya-* должна была дать **blə* (и это верно, ср. *zrə* ‘сердце, душа’ < **zṛdyá-* < **zṛdiya-*), но произошла метатеза [Cheung 2011: 182].

Соответственно, на наш взгляд, предпочтительнее реконструировать именно **dwitá-*, поскольку в бесспорных примерах на **-īya-* метатеза не происходит, а приводимое Дж. Ченгом *səl* ‘сто’ не должно было проходить через этап **slə*, см. ниже.

2. *car*, f. *cará* ‘пастьба, выпас’ < **čartá-* и **čartā-*, ср. др.-инд. *caritá-* ‘ходьба, хождение’. В данных словах смущает только незакономерное *a* (перед группой согласных **a* регулярно дает пшт. *ā*, [Грюнберг-Эдельман 1987: 21; Cheung 2011: 171–172]), но в данном случае такое развитие может быть результатом влияния заимствованной из персидского глагольной основы *car-* ‘пастишь’ [NEVP: 18].

3. *yal* ‘вор’ при f. *yla* ‘воровка’ < **gadá-* и **gadā-*, ударение устанавливается по основе женского рода.

4. *yl* ‘кал, экскременты’ < **gūthá-*, ср. др.-инд. *gūthá-* ‘экскременты; грязь; нечистоты’.

5. *yar* ‘гора’ < **gará-* при более ранней праформе **garí-* ‘гора’. На переход из **i*-основы в тематическую указывают также согдийские и ягнобские данные: ср. согд. *yr-* [yar-] ‘гора’ и ягн. *yar* ‘гора; перевал’ «при ранней утрате **i* и отсутствии умлаута» [ЭСИЯ-3: 191].

6. *māt* ‘сломаный’ < **maštá-*, от глагола **maž-*, который не сохранился в пушту. Ввиду отсутствия надежных древнеиндийских параллелей окситонеза предположительная.

7. *nal* ‘тростник, трубка’ < **nadá-*, ср. др.-инд. *naḍá-* ‘тростник’, *nadá-* ‘тростник’. Последнее слово считается древней основой с индоевропейской этимологией, ср. хетт. *nata-*, *nati-* ‘тростник, трубка для питья; стрела’, лув. *natatta* ‘вид тростника’, арм. *net* ‘стрела’

[EWAia II: 7–8; ЭСИЯ-5: 415–417]. На окситонезу указывают также формы собственно пшт. *nalá*- f. ‘трубка’ и вазири *nəlla* ‘large hollow reed; urethra’ [NEVP: 56].

8. *nən* ‘сегодня’ < **nūnám*, ср. др.-инд. *nūnám* ‘сейчас’.

9. *pal* ‘ступня, след ноги’ < **padá*-, ср. др.-инд. *padá*- ‘шаг, след ноги, отпечаток ноги; место’. Как отклонение в отношении акцентуации рассматривается Дж. Ченгом (Cheung 2010: 113). На самом деле это закономерный рефлекс, как показывают остальные случаи.

10. *skām* ‘стойка, столб’ < **skambá*-, ср. др.-инд. *skambhá*- ‘шест, столб; колонна’.

11. *səl* ‘сто’ < **śatá*-, ср. др.-инд. *śatá*- ‘сто’.

12. *wand* ‘плотина, ров’ < **bandá*-, ср. др.-инд. *bandhá*- ‘цепь, связка’ [Cheung 2011: 174].

13. *wuz* ~ *wəz* ‘козел’, f. *wəzá*, *wza*, также *uzá*, *bza* и *bezá* ‘коза’ < **būzá*- и **būzá*-; удавление устанавливается по форме женского рода.

14. *xəl*, вазири *šəl* ‘лестница из камней и земли’ < **śritá*-, ср. др.-инд. *śritá*- ‘прислоненный’ [NEVP: 98]. Несколько сомнительный случай, потому что в словаре М.Г. Асланова засвидетельствовано *xəl* ‘лестница’ [Асланов 1985: 566].

Исключения в рефлексации встречаются, наиболее важное – *zə* ‘я’ < **azám*. Впрочем, в данном случае речь идет о важном и употребительном личном местоимении, которое может сохранять архаичную форму дольше других основ. Слово *swa* f. ‘копыто’ восходит к **śafá*-, ср. др.-инд. *śaphá*- m. ‘копыто’, авест. *safa* m. ‘копыто’. По всей видимости, произошел ранний переход в основу женского рода, соответственно, праформа **śafá*- рано заменилась на **śafá*-.

Наш анализ показывает, что развитие окситонированных основ в односложные происходит не только в прилагательных, но и в других словах. Таким образом, слова вроде *pal* ‘ступня, след ноги’ – не исключения, а стандартные рефлексы.

II. ОРМУРИ. РЕФЛЕКСЫ **a*-ОСНОВ

В.А. Ефимов считал, что такие случаи, как орм. лог. *E yewər*, *M yēwər*, кан. *E ábər* ‘облако’ < **abrá*-, орм. кан. *pat* ‘верхняя часть спины’ < **parštá*-, ср. авест. *paršta*- ‘ребро’; орм. лог. *E suš*, *M sūš*; кан. *E suš^r*, *M sūš^r* ‘красный’ < **śuxrá*-, ср. др.-инд. *śuklá*- ‘белый; светлый, чистый’; орм. лог. *spew*, кан. *spe/iw* ‘белый’ < ир. **swaitá*-, ср. авест. *spaēta*-, др.-инд. *śvetá*- ‘белый’; орм. лог. *šer*, кан. *šir(r)* ‘хороший, добрый’ < **śrīrá*-, ср. ав. *srīra*-, др.-инд. *śrīrá*- ‘красивый, прекрасный’; орм. кан. *noš^r* ‘мягкий’ < **namrá*-, ср. др.-инд. *namrá*- ‘податливый’ [Ефимов 1985: 49–50; Ефимов 1986: 127], являются примером вторичной баритонезы. На самом деле нет причины пользоваться этим термином, поскольку, как и в пушту, двусложные окситонированные имена регулярно дают односложные формы, такие же, как рефлексы баритонированных основ. Формулировка «вторичная баритонеза» несколько запутывает, потому что можно подумать, будто лишь некоторые основы какого-то типа перешли из окситонезы в баритонезу, а есть основы того же типа, которые сохраняют окситонезу. Но это не так: все праиранские **a*-основы в ормури регулярно теряют последний слог и их продолжения представляют собой односложные формы.

Однако другие непроезвонные основы могут сохранять следы окситонезы. Приведем здесь список из четырех наиболее надежных основ, отмеченных в таком порядке В.А. Ефимовым:

Орм. лог. *morgá* m., кан. *mirgá* f. ‘воробей; пташка’ < **mrgá*- (не **mrgá*- из-за сохранения конечного -á; **ā*-основа);

Орм. лог. *giri*, *gri*, кан. *gri* ‘гора’ < **garáya*- или непосредственно **gari*- (**i*-основа или **ya*-основа);

Орм. лог. Е *pe*, М *pē* ~ *pyē* ‘отец’; кан. Е *pye* ~ *piyé*, М *piē* < **pitár-* (им. п. **pitā*), ср. др.-инд. *pitár-*, им. п. *pitā* ‘отец’ (основа на *-*ar*);

Орм. лог. Е *zle* ~ *zli*, М *zli*, кан. *zli* ‘сердце’ < **z̥rdyá-* < **z̥rdiya-*, ср. греч. *καρδία* ‘сердце’, **ya*-основа [Ефимов 1985: 48].

Таким образом, ударение в ормури напоминает ударение в пушту тем, что окситонезу также утратили сначала **a*-основы, а основы других типов могут ее удерживать, хотя в ормури число сохранивших старое ударение имен не так велико.

III. ПАРАЧИ. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО С ФОРМАНТОМ *-ān*

В языке парачи есть любопытная особенность в образовании множественного числа имен, которая, как представляется, может указывать на более древнее распределение. Различие в ударении основ парачи, от которых образуется множественное число с формантом *-ān*, было отмечено и описано В.А. Ефимовым в работах [Ефимов 1997; Ефимов 2009]. Здесь уместно привести полную цитату его рассуждений относительно причин наблюдаемого распределения: «Показатель множественного числа *-ān* восходит к окончанию род. п. мн. числа у основ на *-*a*, *-*ā*, т. е. к ир. **ānām*. Происхождение двух контрастных вариантов *-ān* не вполне ясно. Сам факт существования этих вариантов, казалось бы, служит доказательством того, что в архаичном состоянии языка парачи (как и ормури, см. [Ефимов 1985; 1986, 107–111, 125–138]) наличествовало разноместное ударение типа ведического и что разная акцентовка данного показателя является отражением ударного и неударного прототипа (т. е. соответственно *-*ānām* и *'-*ānām*) наподобие того, который засвидетельствован в древнеиндийском у *a*- и *ā*-основ [Whitney 1879, 110–111, 121, 128–129; Елизаренкова 1982, 225, 227–228]. Возможно, что именно к этим истокам и восходят акцентные варианты *-ān* в парачи (вопреки акцентологическим представлениям Г. Моргенштерне о количественной по своему характеру природе ударения в диалекте – предке парачи [PFL I: 30–32], которые в данном случае не могут быть применены). Однако дистрибуция этих акцентных вариантов в современных именах существительных – причем не только исконных, но и заимствованных, в том числе и довольно поздних, – не поддается объяснению и, во всяком случае, не связана с конкретными лексемами-этимонами праязыка» [Ефимов 1997: 479–480].

Тем не менее, как представляется, изначальное распределение основ с ударным и безударным формантом *-ān* в парачи, затрагивающее унаследованные лексемы, можно свести именно к древней дистрибуции баритонированных и окситонированных основ. Соответственно, множественное число окситонированных основ ожидаемо должно давать ударный формант *-ān* < **ānām*, а множественное число баритонированных основ – безударный вариант *-ān* < *'-*ānām*. В представленном далее списке будут разобраны прежде всего лексемы с ударным и безударным формантом множественного числа *-ān*, приведенные В.А. Ефимовым в работах [Ефимов 1997: 479; Ефимов 2009: 38].

Безударное окончание *-ān*

1. *dōst*, pl. *dōstān* ‘рука’ < праир. **dāsta-* / **zāsta-*, pl. **d/zāstānām*; ср. др.-инд. *hāsta-* ‘рука’, пшт. *lās* ‘рука’.

2. *guš*, pl. *gūšān* ‘ухо’ < праир. **gāwša-*, pl. **gāwšānām*; ср. др.-инд. *ghōṣa-* ‘шум, крик, рев; шум, молва’, пшт. *ḡwaṣ* (*ḡwaṣ*) ‘ухо’, в кандагарском диалекте также ‘шум’.

3. *mox*, pl. *móxān* ‘лицо’ < праир. **múxa-*, pl. **múxānām*, ср. др.-инд. *múkha-* ‘лицо, рот; устье, передняя часть’, пшт. *māx* ‘лицо’ (Дыбо 1974: 77).

4. *guwán*, pl. *guwánān* ‘вымя’ < праир. **gau-dāna-*, pl. **gaudānānām*. Основа прослеживается в ряде иранских языков, из этих форм наиболее важное продолжение – пшт. *γulánza*, *γwəlánza* < **gu-dāna-čī* с более поздним суффиксом *-a* < **-ā* [ЭСИЯ-3: 215]. Наиболее вероятно, что праформа **gu-dāna-* имела именно такое ударение, а дополнительные суффиксы не изменили его место (также ср. др.-инд. *dāna-* ‘дар, дарение’, пшт. *prolána* ~ др.-инд. *pradāna-* ‘дар, подарок, подношение’). Единственное препятствие для такой реконструкции – нерегулярный согласный *w* на месте **d*.

5. *bōr*, pl. *bōrān* ‘дверь’ < праир. **dwár-* / **dwār-*, pl. **dwārānām*. В праязыке корневое имя, судя по таким формам, как вед. АссPl. *dúras*, *dvāras* = греч. *θύραζε* и тематизированному имени *dvāra-* [EWAia I: 764–765], относилось к типу с накоренным ударением и, соответственно, переходило в баритонированное тематическое существительное **dwāra-* или **dwāra-*. Также на баритонезу указывает пшт. *war* < **dwāra-* [NEVP: 89].

6. *aštaw*, pl. *aštawān* ‘живот’ < **stáfa-*, pl. **stáfānām*. Праиндоиранское ударение не прослеживается, поэтому баритонеза предположительная.

Заемствованные основы с безударным окончанием *-ān* обычно представляют собой односложные и двусложные, обычно заканчивающиеся на согласный: *bolból*, pl. *bolbólān* ‘соловей’; *nāk*, pl. *nākān* ‘груша’; *ámaṛ*, pl. *ámaṛān* ‘яблоко’; *šāx*, pl. *šāxān* ‘ветвь’; *maγás*, pl. *maγásān* ‘муха’ и т. д.

Ударное окончание *-ān*

1. *xi*, pl. *xiyán* ‘сестра’ < праир. **hwāhi* < **hwáhar-*, pl. **hwāhyānām* (возможно, что < **hwāhīyānām*).

Предпочтительнее реконструировать именно **hwāhi-*, как предлагал Г. Моргенштерне, особенно если учесть, что есть определенные параллели в согдийском языке: ср. согд. будд. *γwʹrh*, ман. хр. *xwʹr* [*xʹār*] < **hwahrī-* (ЭСИЯ-3: 434). В праформе окситонеза по контрасту с производным **hwáhar-*; косвенно на акцентуацию указывает прагерманское производное **swiz-já-* m. ‘сын сестры’, ср. др.-англ. *swiria*, *-an* ‘сын сестры’, др.-швед. *swiri*, др.-сакс. *swiri* ‘сын тетки по матери’.

2. *jīnj* ~ *jīnč*, pl. *jīnjān*, *jīnčān* ‘женщина’ < праир. **janičī-* < **jáni-*, pl. **janič(ī)yānām*.

Окситонеза **janičī* получена по контрасту с баритонированной основой **jáni-*, ср. др.-инд. *jāni-*, *jānī-* f. ‘женщина; жена’, авест. *jāni-*, *jāni-* ‘женщина’.

3. *net* ‘внучка’, pl. *netān* < *naptī-*, pl. **napt(ī)yānām*.

Праформа реконструируется на основании сравнения с др.-инд. *naptī*, *naptī-* f. ‘внучка’, авест. *naptī* ‘внучка’.

4. *poš*, pl. *pošān* ‘сын’ < праир. **putrá-*, pl. **putrānām*. Ср. др.-инд. *putrá-* ‘ребенок; сын’.

5. *dot*, pl. *dotān* < праир. **duxtár-*, pl. **duxt(a)rānām*.

Изначально окситонеза **duxtár-*.

6. *boj*, pl. *bojān* ‘коза’ < праир. **būžā-*, pl. **būžānām*.

Место ударения в праиранском и праиндоиранском устанавливается благодаря афганской форме *wuzá* ~ *wza*, также *uzá*, *bza* и *bezá* f. ‘коза’ при *wuz* ~ *wəz* m. ‘козел’, ср. авест. *būza-* ‘козел’ [NEVP: 94; ЭСИЯ-2: 191–192].

7. *γos*, pl. *γosān* ‘дом’ < праир. **wiś-*, pl. **wiśānām*, ср. др.-инд. GenPl. *viś-ām* с ударением на окончании.

Данная корневая основа в ведийском в слабых падежах имеет ударение на окончании, ср. InstrSg *viś-ā*, DatSg *viś-é* и т. д. Соответственно, переход в окситонезу может быть вызван выравниванием по косвенным падежам. Переход праир. **i* > пар. *o* закономерен [Ефимов 1997: 441].

8. *b'in*, pl. *b'inân* 'дерево' < праир. **bṛzn(y)á-*, pl. **bṛzn(y)ânām*.

Праформу **bṛzná-* для слова 'дерево' предложил реконструировать Г. Моргенстьерне: по его мнению, последовательность фонетических изменений выглядела как *bhīn* < **būhn* < **bṛzná-* [PIFL I: 41]. Окситонеза устанавливается по др.-инд. *bhūrjā-* 'вид березы'. Для праформы, от которой происходит парачи *b'in*, необходимо предполагать сокращение.

9. *merzā*, pl. *merzân* 'борона' < **mṛzakā-*, pl. *mṛzakânām*

Ср. белудж. *marz* 'бревно для дробления комьев земли; борона', семнанск. *marze* 'скалка' и т. п. [ЭСИЯ-5: 254–255].

Заемствованные основы с ударным формантом *-ân* обычно представляют собой существительные, заканчивающиеся на ударный *-á* или другой гласный: *tapá*, pl. *tapân* 'холм'; *taxtá*, pl. *taxtân* 'доска'; *č(')ač(')á*, pl. *č(')ač(')ân* 'вид воробья'; *lērē*, pl. *lēr(ē)yân* 'мальчик, малыш'; *wē*, pl. *wēân* 'потолочная балка' и т. д.

Некоторые слова не подчиняются сформулированным правилам: *kalá*, pl. *kaláân* 'голова' имеет безударное окончание, хотя ожидалось бы ударное; то же касается *ṽonđí*, pl. *ṽonđiyân* 'горка, холм'. Наконец, слово *a(y)ír*, pl. *a(y)írân* 'облако' восходит, наиболее вероятно, к **abryá-*, но основа могла подвергнуться значительной перестройке. Есть несколько основ с дублетным ударением, например, *dust*, pl. *dústân* 'друг'.

Таким образом, несмотря на некоторые отклонения от общей схемы, в парачи распределение имен с окончанием множественного числа *-ân* (с ударным и безударным окончанием) соответствует древнему распределению окситонированных и баритонированных основ. Поэтому ставшие односложными исторически двусложные основы в парачи не теряют окончательно акцентологических характеристик – их множественное число свидетельствует о месте первоначального акцента.

В целом можно видеть, что во всех трех языках происходила постепенная утрата различия между баритонированными и окситонированными основами в начальной форме. Она только началась в пушту, в большей степени затронула ормури и особенно парачи, но в последнем старые акцентологические различия сохранились в форме множественного числа на *-ân*.

ЛИТЕРАТУРА

- Асланов 1985 – Асланов М.Г. Пушту-русский словарь. 2-е изд. М.: Русский язык, 1985. 1007 с.
- Грюнберг, Эдельман 1987 – Грюнберг А.Л., Эдельман Д.И. Афганский язык // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: восточная группа. М., 1987. С. 6–154.
- Дыбо 1972 – Дыбо В.А. О рефлексах индоевропейского ударения в индоиранских языках: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков (12–14 декабря): Предварительные материалы. М., 1972. С. 38–44.
- Дыбо 1974 – Дыбо В.А. Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балтославянской акцентологии. I. Именная акцентуация // Балто-славянские исследования / Отв. ред. Т.М. Судник. М.: Наука, 1974. С. 67–105.
- Дыбо 1989 – Дыбо В.А. Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балтославянской акцентологии. II. Глагольная акцентуация // Славянское и балканское языкознание: Просодия: Сб. статей / Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР; отв. ред. Р.В. Булатова, В.А. Дыбо, А.А. Зализняк, Т.М. Николаева. М.: Наука, 1989. С. 106–147.
- Елизаренкова 1982 – Елизаренкова Т.Я. Грамматика ведийского языка. М.: Наука, 1982. 439 с.

- Ефимов 1979 – *Ефимов В.А.* О некоторых архаических чертах морфологической структуры презенса в ормури // Собрание по общим вопросам диалектологии и истории языка (Душанбе, 12–15 ноября 1979 г.): Тезисы докладов и сообщений. М., 1979.
- Ефимов 1985 – *Ефимов В.А.* Ударение в языке ормури // Индоиранское языкознание: Ежегодник 1981. М., 1985. С. 31–64.
- Ефимов 1986 – *Ефимов В.А.* Язык ормури в синхронном и историческом освещении. М.: Наука, 1986.
- Ефимов 1997 – *Ефимов В.А.* Язык парачи // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. Северо-западная группа. М., 1997. С. 419–560.
- ЭСИЯ – Этимологический словарь иранских языков = Etymological Dictionary of the Iranian languages / В.С. Расторгуева, Д.И. Эдельман; РАН, Институт языкознания. М.: Восточная литература, 2000–.
- Cheung 2010 – *Cheung J.* Selected Pashto Problems. I: The Accent in Pashto // *Persica*. 2010. Vol. 23. P. 109–121.
- Cheung 2011 – *Cheung J.* Selected Pashto Problems II. Historical Phonology 1: On Vocalism and Etyma // *Iran and Caucasus*. 2011. Vol. 15. № 1/2. P. 169–205.
- Emmerick 1992 – *Emmerick R.* Chapter 5 Old Indian // *Indo-European Numerals (Trends in Linguistics. Studies and Monographs, 57)* / Ed. by Jadranka Gvozdanovic. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1992. P. 163–198.
- IIFL I – *Morgenstierne G.* Indo-Iranian Frontier Languages. Vol. I: Parachi and Ormuri. Oslo: Institut for Sammenlignende Kulturforskning, 1929. 438 p.
- Morgenstierne 1942 – *Morgenstierne G.* Archaisms and Innovations in Pashto Morphology // *Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap*. 1942. Vol. 12. P. 88–114.
- Morgenstierne 1973 – *Morgenstierne G.* Traces of Indo-European Accentuation in Pashto? // *Norwegian Journal of Linguistics (formerly Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap)*. 1973. Vol. 27. P. 61–65.
- Morgenstierne 1983 – *Morgenstierne G.* Bemerkungen zum Wort-Akzent in den Gathas und im Paschto // *Münchener Studien zur Sprachwissenschaft*. 1983. Heft 42. München, 1983. S. 167–175.
- NEVP – *Morgenstierne G.* A New Etymological Vocabulary of Pashto / Compiled and edited by J. Elfenbein, D.N. MacKenzie and Nicholas Sims-Williams. Wiesbaden: Reichert, 2003. VIII, 140 p.
- Whitney 1879 – *Whitney W.D.* Sanskrit Grammar Including Both the Classical Language and the Older Dialects of Veda and Brahmana. Leipzig: Breitkopf und Härtel; Boston: Ginn, Heath & Company, 1879.

Арте́м Алекса́ндрович Трофи́мов
кандидат филологических наук
старший научный сотрудник
лаборатории востоковедения и компаративистики ШАГИ
РАНХиГС

Artem Trofimov
PhD
Senior Researcher
STEPS
RANERA

Л.А. Чижова
Соотношение сравнительно-исторического
и типологического языкознания:
наследие А. Шлейхера и развитие его идей
в последующих лингвистических исследованиях

Аннотация. В статье анализируется формирование четырех этапов научных парадигм в лингвистике в связи с наследием А. Шлейхера в XIX–XXI вв.: создание методологии сравнительно-исторического языкознания с конца XVIII до начала XX в., представление о влиянии внешних и внутренних факторов развития языков при их конвергенции и дивергенции, соотношение сравнительно-исторического, типологического и ареального языкознания, влияние социальных запросов общества, а также технологических возможностей фиксации вербальных текстов. Благодаря научному наследию А. Шлейхера и его последователей определяются понятие «языковая семья» и принцип относительности действия фонетического закона в диахронных исследованиях, представление о возможности всеобщей классификации языков, формируются паритетные отношения лингвистических исследований в сферах диахронии и синхронии, появляются направления ареальной лингвистики, семиология и структурализм.

Ключевые слова: общее языкознание, научная парадигма, индоевропеистика, типологическое языкознание, ареальная лингвистика

L.A. Chizhova
Comparative-historical and Typological Linguistics's Correlation:
Schleicher's Heritage and the Development of His Ideas
in Subsequent Linguistic Studies

Abstract. The formation of four stages of scientific linguistic paradigms is analyzed in relation to the A. Schleicher's heritage in the 19th–21st centuries in this article: from the creation of the methodology of comparative historical linguistics from the end of the 18th to the beginning of the 20th century, ideas about the influence of external and internal factors of language development in their convergence and divergence, the relations of comparative-historical, typological and areal linguistics, the influence of social demands of society, as well as technological possibilities of fixing verbal texts. Through scientific heritage of A. Schleicher and his followers, the concept of “language family” and the principle of relativity of the phonetic law in diachronic research are distinguished, the concepts of “language family” and the principle of relativity of the phonetic law are distinguished in diachronic studies, the possibility of universal classification of languages is discussed, parity relations of linguistic research in the spheres of diachrony and synchrony are being formed, the directions of areal linguistics, semiology and structuralism.

Keywords: general linguistics, scientific paradigm, Indo-European studies, typological linguistics, areal linguistics

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к истории языкознания – поучительный процесс, поскольку становятся видны очертания сценариев смены эпох в истории народов в связи с развитием интереса к своему языку и к языку другого народа, благодаря стремлению к самоидентификации себя как части народа. Естественно, каждый этап в развитии лингвистических идей зависит от запросов общества и от наличия соответствующей базы зафиксированных вербальных текстов и наличествующих средств обработки этих материалов, а также, без сомнения, от таланта ученых, которые, отвечая на запросы времени, формируют методологию исследований и прокладывают путь в науке. Наша задача – рассмотреть смену эпох не столько по отношению к летоисчислению, сколько по отношению к этапам формирования научных парадигм с целью выявления связи этапов развития сравнительно-исторического и типологического языкознания (далее СИЯ и ТЯ) с особым вниманием к наследию Августа Шлейхера (1821–1868), представителя натуральной школы в истории лингвистических учений, развитию СИЯ и ТЯ не только с конца XVIII в. до наших дней, но и для будущего нашей науки, ближайшего и отдаленного.

Основная часть. Выделение условных этапов складывания и развития научной парадигмы в истории языкознания

Этап I

Лингвистические исследования приобретают статус научных со времени выработки разработанных способов верификации принятых в исследовании объекта предположений именно благодаря формированию методологии сравнительно-исторического языкознания с конца XVIII – начала XIX в., а затем и на всем протяжении XIX в. со сменой центров научных интересов, с изменением набора данных разных языков [Теория и методология языкознания 1989]. Этому способствовали «внешние» для лингвистики обстоятельства: географические открытия, формирование принципов описания познавательной деятельности человека в философии и, что особо важно, описания процессов самоидентификации народа в речевой деятельности – определения отношения к своему прошлому через определение связи с другими народами, цивилизации на основе сходства / несходства языков разных народов, причем, естественно, социальный запрос определялся стремлением найти родство с «сильными» цивилизациями прошлого, с их языками, а значит, для времени с конца XVII в. выявление отношения к латинскому и древнегреческому языкам для европейских народов. Значимость открытий – формирование сравнительно-исторических законов на базе не только корней, но и флексий, определение степени родства языков и относительной древности языков в отношении одного к другому в индоевропеистике – делает честь лингвистике как науке, а затем формирование и самого метода сравнительно-исторического языкознания. Таковы труды таких ученых, как и Ф. Бопп (1791–1867), Р.-К. Раск (1787–1832), Я. Гримм (1785–1898), Ф. Диц (1794–1876), Ф.И. Буслаев (1818–1897), К. Вернер (1846–1896), и многих других, включая А. Шлейхера [Звегинцев 1964].

Особый вклад в становлении СИЯ принадлежит Августу Шлейхеру [Звегинцев 1964: 106–122] и младограмматикам Г. Паулю (1846–1921), А. Лескину (1840–1916), Г. Остгоффу (1847–1909), К. Бругману (1849–1919), К. Вернеру (1846–1896), И.А. Бодуэну де Куртенэ (1847–1929) [Томсен 1938] и другим, кто способствовал развитию СИЯ при учете нового социального запроса – стремления найти место языкознания среди других

наук, естественных и гуманитарных, в связи с учетом своеобразия самого объекта исследования – языка народа, историчности, с одной стороны, и наличия противоречий между действием языкового закона и противодействием этому закону – с другой [Алпатов 2005].

Таким образом, в XIX в., в соответствии с историческими и социальными условиями, формируется направление СИЯ с целью выявить закономерное сходство и различие на базе описания изоморфизма, в основном означающего языкового знака, при учете, несомненно, частичного соответствия и в означаемом – в сфере значения.

Одновременно изучение процессов интеграции и дифференциации классов языков приводит к формированию ТЯ [Новое в лингвистике 1963]. Таковы труды целой плеяды ученых: братьев Августа Вильгельма (1769–1845) и Фридриха (1772–1829) фон Шлегелей, Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835), выделивших четыре класса языков в типологической классификации при описании морфологических структур слова и высказывания в языках, родственных и неродственных, с применением признаков флективности (внутри класса флективных подразделение на синтетизм и аналитизм), агглютинативности, а также изоляции и полисинтетизма; труды Макса Мюллера (1823–1900) – с попыткой применить в типологии признак принадлежности к религиозному ареалу, наследие Хеймана Штейталя (1823–1899), Филиппа Федоровича Фортунатова (1848–1914), других ученых и, конечно, труды Августа Шлейхера [Десницкая 1955].

Огромным достижением А. Шлейхера была разработка метода реконструкции праязыка как модели при выявлении закономерностей при изучении реальных фактов текстов на языках одной семьи [Schleicher 1876]. Как ни относиться к басне о коне и овцах, – басне, в учебных целях написанной Шлейхером, – но, без сомнения, это означало формирование нового аспекта развития СИЯ. Шлейхеру принадлежит и право первенства в привлечении внимания к описанию живого литовского языка, что также свидетельствует о развитии СИЯ как направления в лингвистике [Schleicher 2008].

Итогом первого этапа становится следующий набор черт.

А) Направление СИЯ базируется на поисках доказательств родства / неродства языков на основе формирования сравнительно-исторических законов, объясняющих процессы интеграции и дифференциации языков в их историческом процессе развития от праязыка к языкам последующих эпох с выделением понятия «языковая семья» и принципа относительности действия фонетического закона, – при опоре на диахронный тип исследования. При этом очевидна особенность исследований первого этапа – возможность анализа языков только при наличии текстов с длительной письменной традицией, причем преимущественно буквенного типа.

Б) Направление исследований в сфере ТЯ базируется на представлении о возможности всеобщей классификации языков, независимо от вхождения каждого языка в состав языковой семьи в рамках СИЯ. Упор делается учеными этого направления на синхронные срезы развития языков, как живых, так и мертвых.

Следует отметить, что во все времена интерес к «живому» языку, в стремлении изучить речевую деятельность в синхронном плане, всегда присутствовал: такими были, например, работы А.Х. Востокова (1781–1867), да и «открытие» для Европы санскрита, поскольку формирование сравнительно-исторических законов в индоевропеистике и типологических классификаций определялись наблюдениями при сопоставлении родного, живого для исследователя, языка и мертвых языков, как, например, в наследии Р. Раска.

Этап II

Второй этап характеризуется поисками связи между СИЯ и ТЯ, в том числе в тех случаях, когда труды одного ученого охватывают цели описания в сферах и СИЯ, и ТЯ. Таков пример наследия Августа Шлейхера, во многом опередившего свое время, а затем развитие этих идей мы найдем в трудах Ф.Ф. Фортунатова (1848–1914) – в исследованиях в рамках и СИЯ, и ТЯ. Влияние процесса интеграции наук – в стремлении использовать схему классификации объектов по родо-видовому признаку – в связи с отношением к языку народа как живому организму с этапами рождения, взросления, старения и смерти приводит А. Шлейхера к классификации языков, в которой совмещаются принципы СИЯ и ТЯ [Гамкрелидзе 1988].

А. Шлейхер, развивая идеи В. фон Гумбольдта, выстраивал классификацию языков в соответствии с представлением о языке как о феномене живой природы, а значит, с выделением некоего идеала рождения и молодости (таким был для него древнееврейский язык, который относится, в современном СИЯ к семитской языковой семье), а этап «смерти» символизирует пример китайского языка. При вводе понятия стадии развития языков А. Шлейхер практически осуществляет идею связи ТЯ и СИЯ [Кибрик 2003: 191–195].

При всем уважении к трудам младограмматиков, большой заслугой которых были обязательный учет и объяснение случаев отклонения от действия исторических законов, следует признать, что интерес к привлечению данных типологии в сравнительно-историческом языкознании был утерян. Утерян даже в трудах А. Мейе (1866–1936), который фактически подвел итоги развития СИЯ второго этапа и во многом определил сферу лингвистических исследований СИЯ в будущем, поскольку включил учет когнитивного и лингвокультурологического факторов, когда подчеркивал необходимость анализа таких лексико-семантические группы слов, как названия родства, элементарного счета и прочее, и развития идей А. Шлейхера тогда не произошло. Кардинальное изменение в этой сфере происходит только при смене научных парадигм в лингвистике в XX–XXI вв.

Таким образом, на втором этапе происходит констатация паритетных отношений лингвистических исследований СИЯ и ТЯ в сферах диахронии и синхронии, при работанности, несомненно, в большей степени методов СИЯ [Мейе 1938].

Этап III

Функционально-системная парадигма формируется при опоре на идею связи между СИЯ и ТЯ, а также включением в анализ описания результатов «внешнего» влияния на развитие языка – в сфере формирования ареальной лингвистики в синхронном и диахронном аспектах – при учете, что особенно важно, основополагающих, базовых представлений о системности и структурности естественных языков человечества как особых семиотических систем с иерархической организацией структуры ярусов, с выделением единиц текстобразования и единиц описания, т. е. представления о конкретном и абстрактном уровнях исследования как в СИЯ, так и ТЯ [Звегинцев 1965: 123–166].

На третьем этапе ведущим направлением в лингвистических исследованиях становится структурализм, сформированный при опоре на синхронный тип описания с центрирующим понятием значимости в рамках оппозиционных отношений. Для формирования научной парадигмы структурализма во многом определяющими были труды Соссюра (1857–1913) и его последователей. Однако процессы интеграции наук настойчиво требуют все большего внимания к воздействию «внешних» факторов; возникают новые направления, например социолингвистика, развитию которой способствует созда-

ние средостения между СИЯ и ТЯ [Мартине 1963: 366–566]. Хотя изучение контактов языков издавна привлекало внимание этимологов в сфере СИЯ, развитие методов, например, ареальной лингвистики повлияло и влияет в настоящее время и на СИЯ, и на ТЯ. Таковы основные школы структурализма в истории языкознания, включая швейцарскую, пражскую, петербургскую и московскую.

Трудности использования структурного метода в СИЯ на третьем этапе можно продемонстрировать на примере исследований в области изучения тех языков, которые не имеют длительной письменной фиксации, а представлены только в узусе речи, а также для тех языков, чьи письменные памятники сформированы не на базе буквенного типа, а, например, иероглифики, особенно если такой язык мертвый. Отсюда очевидна необходимость формирования особого раздела – грамматиологии – как науки, изучающей искусственные семиотические системы письменности при использовании структурного метода и поиска ответов на вопросы о соотношении единицы письма и единицы языка [Косериу 1963: 143–343].

Однако и в СИЯ, и в ТЯ новый этап представил новые возможности для рассмотрения текста как особого уровня, что привело к формированию новых целей в связи с расширением задач в рамках семиозиса с уравниванием значимости синтактики, представленной выводами при изучении текста в составе речевого акта, с семантикой и прагматикой. Но и на этом, третьем этапе достижения ученых предшествующих эпох не теряют своей актуальности, в том числе наследие А. Шлейхера.

Э т а п I V

Предположение о следующем, четвертом при нашей классификации, этапе также закономерно, поскольку взгляды на прошлое и настоящее развития языка и языков требуют ответа на вопрос, какое направление – с расстановкой приоритетов, с применением не только старых, но и новых методов – следует ожидать в будущем? Кажется очевидным, что выход за пределы возможности использования письменных текстов (при доказательстве родства языков, а также при расширении возможностей изучения огромного массива текстов как при письменной, так и устной фиксации, в самых разных частях логосферы функционирования национальных языков, что обеспечивают национальные корпуса уже многих языков, как мертвых, так и живых, причем с проявлением идиостилей конкретных создателей текстов) ставит на повестку дня перед лингвистами много новых задач. Какие законы позволят «предсказать» будущее развития языковых семей и языковых типов? Как, в какой степени в ближайшем и в отдаленном будущем сохранится рамочное соотношение по принадлежности живого языка к семье и типу? Прав ли был Шлейхер, утверждавший, что победа в борьбе за выживание может принадлежать изолирующему типу, а вымирание многих семей и типов – закономерный процесс эволюции живых организмов на третьей от Солнца планете – Земле?

Скорее всего, это взгляд в отдаленное от нас будущее, но физики, в сфере космологии, утверждают, что длительные процессы эволюции звезд и галактик предполагают принципиальную цикличность: «смерть» звезды способствует возрождению при образовании «облака», а затем и новой звезды. Будем надеяться, что те же процессы цикличности характеризуют и жизнь языков человечества на нашей маленькой планете в течение будущих тысячелетий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как и в искусстве, с течением времени, при наличии текстов разной семиотической природы, а также при признании ценности научных открытий и вклада конкретных ученых, так и для лингвистов остается значимым уважение к памяти Августа Шлейхера, что, несомненно, важно, в том числе в сфере подготовки специалистов по сравнительно-историческому и типологическому языкознанию.

ЛИТЕРАТУРА

- Schleicher A.* Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1876.
- Schleicher A.* Litauische Grammatic // Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. T. 1. Vilnius, 2008.
- Алпатов В.М.* История лингвистических учений. 4-е изд. М., 2005.
- Гамкрелидзе Т.В.* Лингвистическая типология и праязыковая реконструкция // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М., 1988.
- Десницкая А.В.* Вопросы изучения родства индоевропейских языков. М.; Л.: АН СССР, 1955.
- Звегинцев В.А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях: В 2 ч. М.: Просвещение, 1964–1965.
- Кибрик А.Е.* Родственные языки как объект типологии // Кибрик А.Е. Константы и переменные языка. СПб.: Алетейя, 2003.
- Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
- Мартине А.* Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
- Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938. Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
- Томсен В.* История языковедения до конца XIX века. М., 1938.

Лариса Алексеевна Чижова
кандидат филологических наук
доцент
кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания
филологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова

Larisa Chizhova
PhD
Associate Professor
Department of General and Comparative Linguistics
Faculty of Philology
Lomonosov Moscow State University
lachizhov@yandex.ru

М.Е. Шляхтер
Развитие значения глагола *khelāno* ‘играть, развлекать’
в среднебенгальском и ‘заставлять играть,
водить за нос’ в современном бенгальском

Аннотация: Бенгальский глагол *khelāno*, формально каузатив от глагола *khelā* ‘играть’, в среднебенгальских текстах чаще употребляется как синоним *khelā*, хотя есть и отдельные примеры каузативного употребления или использования в значении ‘играть во что-то’. В современном бенгальском языке происходит возврат к каузативному употреблению *khelāno* в контексте игры с детьми (‘вовлекать в игру’) и использование его в качестве спортивного термина в производном от каузатива значении ‘задействовать в игре’ (на определенной позиции); также в словарях упоминается значение ‘заставлять исполнять трюки’ (о животных) и, возможно, восходящее к нему ‘водить за нос, манипулировать’. Некоторые устойчивые выражения с *khelāno*, которые в современном бенгальском не имеют отношения к игре (например, *leje khelāno* ‘давать ложные надежды’), также можно возвести к *khelāno* в значении ‘заставлять играть’.

Ключевые слова: бенгальский язык; каузатив; среднебенгальский; Рупрам; Чандидас; Джаянанда

M.E. Shlyakhter
The Development of the Meaning of the Verb *khelāno*
‘to play, to entertain’ in Middle Bengali and ‘to make play,
to lead by the nose’ in Modern Bengali

Annotation: The Bengali verb *khelāno*, formally a causative of the verb *khelā* ‘to play’, appears more often as a basic verb synonymous to *khelā* than a causative in Middle Bengali poems. In Modern Bengali it is often used as a causative in the context of playing with children (‘to cause to play, supervise at play’) and as a sports term (‘to make a player play at a certain position’); besides that, dictionaries mention such meanings as ‘to make do tricks’ (about animals) and ‘to lead by the nose, to manipulate’ (possibly also associated with the context of doing tricks). Some modern Bengali fixed expressions with *khelāno* such as *leje khelāno* ‘to give false hope’ can also be traced back to *khelāno* ‘to make play’.

Key words: Bengali; causative; Middle Bengali; Rupram, Chandidas, Jayananda

Глагол *khelāno* образован от бенг. *khelā* ‘играть’, который восходит к пракр. *khēlai* ‘играет’ < **khel-/kheḍ-* < санскр. *kelati* ‘дрожать’, *krīḍati* ‘играть’¹ [Turner 1962–1966: 208]. Формально *khelāno* является каузативом *khelā* и упомянут как каузатив у Тернера [Turner 1962–1966: 208], однако в словаре среднебенгальского С. Сена указано, что он может быть как каузативным, так и не каузативным; базовый глагол *khelā* переводится как ‘играть, быть спортивным, забавляться’, а *khelāno* – как ‘играть в кости и пр.; заставлять играть’ [Sen 1971: 199], т. е. различие между этими глаголами можно понимать как ‘играть (просто), забавляться’ (*khelā*) и ‘1. играть во что-то, 2. заставлять (кого-то) играть’ (*khelāno*). В качестве примера первого значения Сен приводит игру в кости из поэмы Мадхавы Ачарьи «Кришнамангала» (XVI в.):

¹ По мнению Тернера, часть форм пракритского глагола восходит к санскр. *kelati*, а часть – к санскр. *krīḍati*.

1.

āju	juā	khel-ā-iba	grāma-antarī
сегодня	кости	играть-CAUS-FUT.1	деревня.внутренний

Сегодня мы будем играть в кости в деревне¹ [Sen 1971: 199]

В качестве примера второго значения дается пример из поэмы Бару Чандидаса «Шри-кришнакиртана» (XVI–XVIII вв.):

2.

eirūpe	khel-ā-iyā	gorī-re	gopāla
так	играть-CAUS-CONV.PFV	пастушка-OBJ	Гопала

Так Гопала развлекал² пастушек [Sen 1971: 199].

В падах Чандидаса *khelāno* встречается в значении ‘играть роль, изображать’:

3.

khelāiche	māla	purandara
играть-CAUS-IPFV-3PRS	заклинатель.змей	Вишну

Кришна притворяется заклинателем змей [Majumdār 1960: 211].

В «Чайтаньямангале» Джаянанды – просто в значении ‘играть’, без уточнения:

4.

nadiyā	nikaṭ-e	khelāy	gaurāṅga	bīr-e
Надия	близость-LOC/INS	играть-3PRS	Гауранга	герой-LOC/INS

Возле Надии играет герой Гауранга [Majumdār 1971: 24].

5.

ār	nahi	khel-ā-te	jā-e	nagara	cātar-e
еще	NEG	играть-CAUS-INF	идти-3PRS	город	площадь-LOC/INS

[Дети] уже не ходят играть на городской площади [Majumdār 1971: 25].

В «Дхармамангале» Рупрама – в значении ‘играть (с кем)’:

6.

māṭjā-r	saṅge	yena	bālak-e	khel-ā-y
кошка-GEN	с	словно	ребенок-LOC/INS	играть-CAUS-3PRS

Словно ребенок играет с кошкой [Sakrabartī 2011: 188].

Таким образом, можно поделить эти значения на ‘1. играть; 2. играть во что-то; 3. заставлять играть / руководить игрой’.

В современном бенгальском *khelāno* означает ‘руководить игрой, заставлять играть; заставлять кого-л. исполнять свою волю; водить за нос; (спорт. термин) играть, передавая мяч по своей стороне поля’³ [Biswas 2000: 287]; также упоминается значение ‘заставлять исполнять трюки’ (о заклинании змей, дрессировке животных и др.) [Biswas 2004: 233].

Значение ‘заставлять играть’ довольно активно используется в статьях о спорте (реже в значении именно ‘заставлять’, чаще в значении ‘выводить игрока на поле, ставить на какую-либо позицию; задействовать в игре’):

¹ Перевод Сена: «(Мы) будем играть в кости во внешней деревне» [Sen 1971: 199].

² Перевод Сена; теоретически это можно понять и как ‘заставлял играть’.

³ Примеры значения ‘водить за нос’ у Biswas 2000 – *baṅik sarkārke khelāy* ‘Бизнесмен водит за нос правительство’, у Biswas 2004 – *puliś corke khelācche* ‘полиция манипулирует преступником’.

7.

moṣṭafiz-ke	bas-iṅe	kāṭiñ-ke	kena	khel-ā-cch-e	mumbāi
Мустафиз-OBJ	сидеть-CONV.PFV.CAUS	Катинг-OBJ	почему	играть-CAUS-IPFV-3PRS	Мумбаи

Почему [команда] «Мумбаи [Индианс]», посадив Мустафиза [на скамейку запасных], отправляет в игру Катинга? [Bn.mtnews24.com 2018: эл. рес.].

8.

jor	kar-e	āmi	khel-ā-te	cā-i	nā
сила	делать-CONV.PFV	я	играть-CAUS-INF	хотеть-1PRS	NEG

Я не хочу заставлять [их] играть насильно [Prothomkolkata.com 2021: эл. рес.].

9.

yadi	kautinhoke	rāiṭ	yīṅe	khelāno	haṅ	tāhale	samasyā
если	Котинью	правый	фланг-LOC/INS	играть-CAUS-GER	быть	то	проблема

Если Котинью придется выставить на правом фланге, будет сложно [City24news.com 2018: эл. рес.].

Вне спорта (в контексте игры с детьми) встречается значение ‘вовлекать в игру, руководить игрой’:

10.

Or	sāthe	kathā	balun,	galpa	karun	bā	oke	khelān
3P-GEN	с	слово	говорить-IMP.2P.HON	рассказ	делать-IMP.2P.HON	или	3P-OBJ	играть-CAUS-IMP.2P.HON

Разговаривайте с ним, рассказывайте ему сказки или вовлекайте его в игру [Bangla.babydestination.com 2020: эл. рес.].

Выражения *māthā khelāno* ‘включить голову’, *leje khelāno* ‘давать ложные надежды’, скорее всего, восходят к значению ‘вовлекать в игру’ (в первом случае выражение можно истолковать вполне буквально (‘заставлять играть’ голову, т. е. заставлять работать), во втором случае оно буквально значит ‘играть хвостом’, т. е., размахивая хвостом перед чьим-то носом, тщетно давать надежду за него ухватиться).

Прилагательное *dheu khelāno* ‘волнистый’ (*dheu* ‘волна’) на первый взгляд сложно связать с глаголом *khelāno*, однако похожее выражение с другим словом, обозначающим волну, встречается у Рупрама в «Дхармамангале»:

11.

ḍhāl	khāṛā	hāthe	bīr	laharī	khel-ā-ṅ
щит	вертикальный	рука-LOC/INS	герой	волна	играть-CAUS-3PR

Высоко держа в руке щит, герой двигает им из стороны в сторону (букв. «играет волну») [Sakrabartī 1986: 191].

Здесь, скорее всего, *khelāno* значило ‘изображать’ (возможно, восходит к тому же значению, что и пример 3).

Таким образом, мы видим, что в среднебенгальских поэтических текстах *khelāno* редко встречается как каузатив; возможно, сначала произошел переход от ‘заставлять играть’ к ‘играть во что-то’, а потом к просто ‘играть’; отдельно стоит выделить *khelāno* в значении ‘изображать, играть роль’.

В современном бенгальском происходит возврат к каузативному значению в контексте игры с детьми и последующей спецификацией значения в случае спортивного термина и дрессировки животных. Значение ‘водить за нос, манипулировать’ можно возвести к контексту дрессировки животных. Составное прилагательное *dheu khelāno*, скорее всего, возникло из выражения, где *khelāno* значило ‘изображать’.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

CAUS – каузатив; CONV – деепричастие; FUT – будущее время; GER – герундий; GEN – родительный падеж; HON – уважительная форма; IMP – императив; LOC/INS – творительно-местный падеж; NEG – отрицание; OBJ – объектный падеж; PFV – совершенный вид; PRS – настоящее время; 1, 2, 3 – первое, второе, третье лицо.

ЛИТЕРАТУРА

- Biswas S.* Samsad Bengali-English Dictionary. 3rd ed. Calcutta: Sahitya Samsad, 2000.
- Biswas S.* Samsada Bangala abhidhana. 7th ed. Calcutta: Sahitya Samsad, 2004.
- Cakrabartī R.* Dharmamaṅgala. Calcutta: Bharāvij, 2011 (1986).
- Brājiler serā ekādaś, lakṣya, hatāś o samak hate pāre yārā [Электронный ресурс]. City24news.com. Электрон. дан. 2018: <https://city24news.com/bn/archives/11394>, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 28.10.2021).
- Erā sab didir sainik tomāke khelācche, jitendrer poste kena eman kament? [Электронный ресурс]. Prothomkolkata.com. Электрон. дан. 2021: <https://prothomkolkata.com/65660/all-these-sister-soldiers-are-playing-you-why-such-a-comment-in-jitendras-post/>, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 28.10.2021).
- Majumdār B.B.* Caṅḍīdāser padābalī. Kolkata, 1960.
- Majumdār B.B., Mukkhopaddhyay S.* Jayānaṅḍa’s Caitanya-mangala. Kolkata, 1971.
- Mostafijke basiye Kāṭinke kena khelācche Mumbāi? Praśna Ākāś Corṣār [Электронный ресурс] / MTnews24.com. Электрон. дан. 2018: <https://bn.mtnews24.com/kheladhula/254787/মোস্তাফিজকে-বসিয়ে-কাটিকে-কেন-খেলাচ্ছে-মুম্বাই--পরশ্ন-আকাশ-চোপড়ার>, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 28.10.2021).
- Rātbhar śiśur niścinta ghumēr 7ṭi sahaṅ ṭips [Электронный ресурс]. Bangla.babydestination.com. Электрон. дан. 2020: <https://bangla.babydestination.com/baby-sleeping-tips-in-bengali>, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 28.10.2021).
- Sen S.* An Etymological Dictionary of Bengali. A.D.Calcutta, 1971. P. 1000–1800.
- Turner R.L.* A Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages. London, 1962–1966.

Майя Евгеньевна Шляхтер
младший научный сотрудник
Институт лингвистических исследований РАН

Mayya Shlyakhter
Junior Researcher
Institute for Linguistic Studies RAS
mayyash9@gmail.com

Научное издание

**Сравнительно-историческое языкознание XIX–XXI вв.
К 200-летию со дня рождения Августа Шлейхера (1821–1868)**

Материалы XI Международной научной конференции
по сравнительно-историческому языкознанию

МГУ имени М.В. Ломоносова
Филологический факультет
23–25 ноября 2021 г.

Электронное издание сетевого распространения

Оригинал-макет подготовлен на филологическом факультете
МГУ имени М.В. Ломоносова

Компьютерная верстка *А.М. Егоров*

Макет утвержден 08.11.2022.
Формат 60×90/8. Усл. печ. л. 16,5. Изд. № 12232.

Издательство Московского университета
119191, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1
стр. 15 (ул. Академика Хохлова, д. 11)

ISBN 978-5-19-011804-9



9 785190 118049